



МИХАИЛ БЕЛОЗЁРОВ

**НА
ВЫСОТЕ
ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА**

**ВОЙНА В ДОНБАССЕ
– ЭТО ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ НАРОДА,
И ОН ПРЕКРАСНО ЕГО ВЫДЕРЖАЛ.**

РОМАН

Михаил Белозеров

На высоте птичьего полёта

«Остеон-Групп»

2018

Белозеров М. Ю.

На высоте птичьего полёта / М. Ю. Белозеров — «Остеон-Групп» , 2018

ISBN 978-5-85689-226-9

Роман о журналисте, который волей случая участвовал в боях. Был тяжело ранен. Попал в Москву. Пережил серию операций. Восстановился. Прожил в Москве год, успел разбогатеть, жениться, всё и вся потерял, всё раздал и снова уехал... опять воевать.

ISBN 978-5-85689-226-9

© Белозеров М. Ю., 2018

© «Остеон-Групп» , 2018

Содержание

Глава 1. Выздоровление	6
Глава 2. Юз и рог изобилия	24
Глава 3. Жеребёнок	41
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Михаил Белозёров

На высоте птичьего полёта

© М.Белозёров. 2018

* * *

*Он мёртв. Его никто не знает.
Но мы ещё на полпути,
И слава мёртвых окрыляет
Тех, кто решил вперёд идти.*

Константин Симонов

Нашему большому другу – Ларисе Синичкиной.

Глава 1. Выздоровление

В январе шестнадцатого я выполз, прихрамывая, на высокую балюстраду реабилитационного центра ГБУ, что на «Достоевской», с осколком в лёгких, с флешкой нового романа в кармане и с абсолютной уверенностью, что теперь-то мне конец – не может судьба так долго благоволить одному человеку.

Мои бесконечно верные Репины стоически ждали меня внизу, и я махнул им аптечной палкой, демонстрируя, что моя левая уже работает и что я уже способен на героический поступок, то бишь проскакать на одной ножке по запорошенной снегом лестнице и не переломать себе кости окончательно и бесповоротно.

Я с опаской вдохнул морозный воздух, с недоверием посмотрел на бледно-голубое небо в росчерках перистых облаков и, хотя это было кощунством к прошлому, ощутил счастливое головокружение, после чего долго откашливался. Сказались полдюжины операций и полугодичное пребывание в закрытых помещениях. Потом я храбро пересчитал все пятьдесят три ступени, делая на каждой полуминутную остановку, чтобы отдышаться, и, наконец, очутился внизу. Сердце моё бешено колотилось, в голове трубил небесный хор, а ноги предательски подкашивались.

– Ну как... рыба?.. – вызывающе бодро поинтересовался Валентин Репин, изучая моё лицо, по которому катился пот слабости, но обниматься не полез, а сочувственно ткнул растопыренную пятерню, демонстрируя опасение сломать мне запястье своим рукопожатием альпиниста.

Видно, я был совсем плох. Да и то правда, при росте метр девяносто пять я весил не больше пятидесяти шести килограммов, и меня спокойно могло унести порывом ветра.

– Что?.. – переспросил я из-за давней контузии, полученной под Саур-Могилой. – А-а-а... – однако, по его лицу сообразил, о чём он. – Вроде ничего. – И не узнал своего голоса, потому что отвык его слышать вне помещения: был он глухим и трубным, как глас архангела, хотя и с камушками в осадке, и в этом качестве отражал моё нынешнее душевное состояние кризиса духа, ведь часто смысл происходящего заключается только в контрасте.

– Мишаня, тут Жанна Брынская тебе кое-что подарить хочет...

Именно с таким грудным прононсом он всегда отзывался о своей жене, почти как о намоленной иконе: «Моя Жанна Брынская!»; и я давно принял их на веру, то бишь перестал удивляться.

Его красавица-жена, этническая полька, с лицом, усыпанным солнечными веснушками, радостно привстала на цыпочки; совсем близко, сверху вниз, я увидел прекрасный карий глаз; и осторожно чмокнула меня куда-то в челюсть, куда дотянулась, а потом величественно, как и все её манеры, развернула просто-таки огромный мохеровый свитер, потому что я был одет в то, в чём меня доставил спецборт: в старую, заштопанную куртку-ветровку и брюки. В четырнадцатом, в разгар боёв в донецком аэропорту, Валентин Репин экипировал пять человек, в том числе и меня, армейской формой. Жаль, что я не оправдал его доверия. Война в Донбассе – это испытание совести народа, и он прекрасно его выдержал.

Я оставил постылое больничное одеяло, в котором выполз, на лавочке для медсёстры Верочки Пичугиной, которая с безнадежно-тихой грустью провожала меня взглядом с балюстрады, натянул этот необычайно тёплый свитер, пахнувший домом, и впервые за шесть месяцев невольно засмеялся, отметив краем сознания, во-первых, сам факт предательского смеха, а во-вторых, и ещё то немаловажное, что человеку, в общем-то, не так уж много надо – всего лишь любви и участия.

– Всё! Поехали, поехали! А то замёрзнем, – необычайно деликатно выразился Валентин Репин, обращаясь больше с упрёком к любимой жене, нежели ко мне, и, мы погружившись

в машину, осторожно повезли моё измученное тело по рождественской Москве в Королёво. Прощай, реабилитационный центр, выглянул я в окно, единственно, пожалев, что так и не поцеловал на прощание Верочку Пичугину, которая, кажется, была в меня тихо влюблена и, если втыкала иглу в вену, то с крайней деликатностью и с чрезвычайной нежностью, а уж ватку прикладывала – одно удовольствие.

Москва была вся в праздниках и блистала новогодним убранством. Там, в окопах, мы молились на эту Москву, пусть сыто-барскую, пусть насмешливую, пусть равнодушную, не признающую нас ни под каким соусом, но всё равно нашу Москву, вечную Москву, настоящую Москву, преданную Москву, представляя её чем-то единственно ценным в этом мире, дальше которой отступать было некуда – даже когда мокли под дождями, даже когда тряслись и глохли под обстрелами, даже когда не спали, не ели сутками, умирали на госпитальных койках или в лапах врага. Человек обязательно должен во что-то верить. И я верил, и мои товарищи по оружию тоже верили, иначе напрасно гибнуть не имело никакого смысла, а надо было сдаться на милость укрофашистам, разбежаться по степям и дубравам и выть от бессилия на луну и звёзды.

Мне было тридцать семь, я был одинок и гол как сокол, мою жену Наташу и мою дочь Варю убила мина в июле позапрошлого года, (я просто знал, что так нужно думать, иначе можно сойти с ума), в мою квартиру на Университетской влетел снаряд, и возвращаться в Донецк было некуда. Редакция на Киевском проспекте, в которой я служил, выгорела дотла, и боец из меня теперь был аховый, как сказал главврач Сударенко: «До первой же пробежки, осколок шевельнётся, перережет лёгочную артерию, и в три секунды истечёшь кровью». Я видел на снимке этот осколок, величиной с пять рублей, с рваными краями, как шестёренка у часов, и чужеродный человеческой плоти по сути. Мне предстояла по поводу этого ещё одна операция, но вначале надо было восстановить силы, потраченные войной, однообразным питанием, а главное – нервами.

– Коньячок, надеюсь, тебе можно? – обернулся Валентин Репин с двусмысленной ухмылкой вечного фигляра.

Я обожал его за эту улыбку, которая говорила, что по версии Валентина Репина в мире всё прочно и незыблемо, как небесный свод, и будет так до скончания веков, и после – тоже. Конечно, Репины не знали всей правды; правда заключалась в том, что человек во второй половине жизни рано или поздно попадает в ловушку под названием безысходность со всеми вытекающими для души последствиями. Со мной это произошло раньше, чем с ними. Однако я не спешил их разочаровывать, пусть они дозреют, как хлебная закваска, всё равно деваться некуда.

– Можно, – ответил я, оберегая свой исколотый зад от ухабов на дороге и неожиданно возвращаясь к тому тлеющему ощущению выздоравливающего человека, который успел подзабыть.

Нервы были ни к чёрту! Они провисли, как бельевые верёвки, и любое воспоминание приводило их в смятение, и не только потому что меня едва не убил «замок», я не спал, как все нормальные люди, мне раз за разом, как кошмар, снился Калинин, позывной Болт, с окровавленной култей, я тащил его по минному полю, на его губах пузырилась кровь, а над нами свистели пули; мне снился человек, ни фамилии, ни позывного которого я не знал. Он вдохновлено показывал мне позицию. Вдруг голова у него вспухла, как красный шарик, и я оказался обрызганным кровью и мозгами с ног до головы. Больше всего испугался человек, который отвечал за мою безопасность, Ефрем Набатников, позывной Юз, замкомроты – «замок», рубаха-парень, готовый и в огонь и в воду, и просто страшно, невероятно везучий, как чёрт, но осенью пятнадцатого почему-то прикрывшийся мною от мины. С тех пор меня рвало непредсказуемо, в любом месте, абсолютно без видимых причин, и люди смотрели на меня, как на

алкоголика, а у меня всего лишь непроизвольно облегчался желудок, поэтому я ел, как птичка, чтобы никого не пугать и не смущать.

Ефрем Набатников, позывной Юз, заорал срывающимся голосом: «За мной!», и мы побежали в тыл, а по нашим позициям ударила артиллерия и ещё парочка крупнокалиберных пулемётов. С тех времён я знаю, что такое быть виноватым в чьей-то смерти. Я назвал того человека Томом Клэнси, потому что, когда мы пришли в землянку, он читал книгу именно этого автора, «Охота за «Красным октябрём»». Больше я о нём ничего не ведал; был он подслеповатым, очкастым, с седой щёткой усов, и когда говорил, чувствовалось, что у него вставная челюсть. В начале войны в ополчение брали всех умеющих мало-мальски стрелять, и не умеющих – тоже. Я хотел о нём написать, но Ефрем Набатников сказал, что у него даже нет списка добровольцев, люди приходят и уходят, когда им заблагорассудится. «Это и есть гражданская война, – сказал он с тем выражением, когда констатируют неудобный факт, но деваться некуда. – Ты не пиши об этом, не надо...» «Почему?!» «Ну а что ты напишешь? Мол, старик пришёл и умер от шведской разрывной пули?» «Так и напишу», – упёрся я. «Ну как знаешь, – покривился он, словно от кислого. – Мне известно, что у него никого нет, что он разведён, а жена с детьми в Италии». «Откуда?» «Рассказывал по пьянке. Знаю, что сын у него – мелкий воришка, а жена три раза делала аборт от разных мужиков. Так что смерть для него даже подарок». Действительно, подумал я, писать не о чем, миллионы людей мучаются и корячатся точно так же. Мужика даже повезло – умер моментально, ничего не поняв.

Я забывался лишь на рассвете в короткой передышке, загнанный кошмарами, до утреннего градусника. Выздоровление моё становилось всё более эфемерным, и мои бесконечно терпеливые Репины, дабы не закапывать меня на ближайшем погосте, мудро решили забрать к себе и выходить, как бездомную собаку. Денег им на жизнь вечно не хватало, а тут ещё иждивенец свалился на голову. Я знал, что Валентин имел долгий разговор с главврачом Борисенко, и примерно догадывался о его содержании: мол, кормить и ещё раз кормить, и никаких отрицательных эмоций, только положительные, тепло и внимание, а если женщину, то исключительно жалостливую, но не слезливую и, тем паче, не крикливую, душевную, проникновенную, мягкую и покладистую. Ну а где ты такую возьмёшь? Сейчас такие не рождаются.

Все каким-то необычайно хитрым путём возжелали убажить мой посттравматический синдром, как будто он был маленьким, пушистым котенком, а не монстром, дремавшим до поры до времени у меня в голове. Фонд, за счёт которого меня патронировали, благополучно испустил дух, и я не представлял, где возьму деньги для ближайшей операции.

Однако всё это относилось к будущему, которое могло и не наступить, поэтому я нарочно сделал большой глоток дагестанского «Лезгинка», дабы погасить в себе дремлющее чудовище, и живительная влага растеклась по моим жилам. Я дал себе слово жить одним днём, одним часом, одной минутой, только так можно было спастись от мыслей о прошлом, оно сделалось опасным, как неразорвавшаяся мина, терзало меня в моменты забывания и не давало себя обмануть, потому что всегда и везде было многократно сильнее, чем я.

– Ну и правильно, – согласился Валентин Репин, заметив мой испуг, только он, надеюсь, не понял, к чему он относился.

– Мы тебе здесь невесту нашли, – с ходу взяла быка за рога Жанна Брынская, внимательно следя за дорогой и заслуживая ироничный взгляд Валентина Репина, который, должно быть, хотел сказать, что хорошая новость, как ложка дёгтя, подаётся к обеду, но никак не раньше. – Аллой зовут, моя институтская подруга.

Её прекрасные карие глаза вопросительно скользнули по моему отражению в зеркале.

– Вот этого мне только не хватало, – среагировал я, избегая ответной реакции, потому что оттуда на меня глядело костистое, осунувшееся лицо измождённого человека, который, в отличие от Репиных, не питал никаких иллюзий насчёт своего будущего, разве что утешался

мыслью вернуться в окоп и подохнуть в нём, но даже это отныне было роскошью, поскольку для войны он стал непригоден.

– Зря, старик, зря, – покровительственно сказал Валентин Репин, – женщина для того и создана, чтобы опекать и холить! Правда, Жанна Брынская?! – с вызовом спросил у жены, поправляя свои огромные роговые очки, которые делали его похожим на бронтозавра.

В тот же вечер я их ему сбил, в попытке с кем-то сразиться, оставив на переносице Валентина Репина багровую ссадину; пить надо меньше, каялся я поутру, прекрасно осознавая, что в последней стадии опьянения алкоголь действует на меня неадекватно.

– Правда, Валик, правда, – согласилась Жанна Брынская с тем долготерпением, которое свойственно мудрым жёнам, и мы застряли в пробке. – Миш, – обратилась ко мне Жанна Брынская, – а чего ты теряешь? Тебя же под венец не тащат. – она по-свойски мне подмигнула, хорошо хоть Валик не заметил. – Познакомитесь, поболтаете, может, понравитесь друг другу.

Они словно забыли о моих: Наташке Крыловой и о дочке Варе, которые для меня никуда не делись. И я простил их за короткую память, не скажешь же им, что я самый дрянной беглец от прошлого, которое не отпускает, которое вцепилось, как самолёв, и держит, как швартовый канат, что оно мечет в меня стрелы воспоминаний и одаривает такими снами-кошмарами, от которых хочется повеситься. Просто они хотели мне помочь. Это было часть их заговора с главврачом. А ещё они были моими друзьями из того самого ужасного прошлого.

– Предпочитаю мужчин! – заявил я, ни капли не моргнув глазом.

– Мужчин?! Но почему?! – чуть ли не плюнули они мне в лицо, как две кобры; а Жанна Брынская ещё в праведном гневe ударила и по тормозам, чем вызвала цепную реакцию позади нас.

– Потому что с мужчинами можно пить, курить и сквернословить, – разочаровал я их.

– А-а-а... поэтому... – То-то я их оговорил, а потом – рассмешил.

– Старый солдат не знает слов любви? – иронически осведомилась Жанна Брынская, вопрошающе вскинув жгуче-польские брови.

– Ты посмотри на меня... – угрюмо возразил я, глядя на свои тощие, как стручки, колени, на руки, торчащие, словно две куриные лапки, из обшлагов куртки, хотя причина, конечно же, была не в этом, – какой из меня жених?!

Коньяк сделал своё дело, язык у меня развязался, обычно я не слишком болтлив, полагая, что в этом мире, всё уже сказано.

– А чего?... – удивлённо обернулась Жанна Брынская, перестав разглядывать меня в зеркало заднего вида. – Ты ещё ничего. Правда, Валик?

Она происходила из древней польской шляхты, умела делать неприступное выражение лица, была заведующей аптекой, что на Циолковского, в которой торговала не только лекарствами и пробиотиками, но и из-под полы – ведьминскими снадобьями, и жила совершенно в ином мире, чаще всего в интернете и ещё где-нибудь, где нет войны, боли и душевных потерь, любила своего мужа-изверга и наслаждалась столичной жизнью, выращивая целлулоидные антуриумы и бонсай, и слава богу! Такие женщины, мечта любого нормального мужчины (слава богу, я был ненормальным), живут долго и счастливо, одаривая всех вокруг светом небесной радости.

– Правда, рыба, – с ехидным прононсом согласился Валентин Репин. – Были бы кости, а мясо нарастет, – со смешком уточнил он, будто не верил ни во что святое, а только – в великую ипохондрию и великие горы, и мы помчались дальше.

Женщины меня давно не прельщали. С женщинами у меня были сплошные проблемы. И я невольно вспомнил, как тогда, когда считающий себя ещё журналистом, пять суток выбирался из окружения и как к нам прибилась испуганная женщина, с которой мы грелись по ночам, прижимаясь друг к другу, потому что костёр нельзя было разжигать, и как я был безмерно ей благодарен за неожиданно подаренную нежность. Эта нежность долго жила во мне, как

огонёк в степи. Однако в госпиталь, где я лежал с ранением в бедро, эта женщина, с зелёными глазами, так и не пришла.

Так вот, она мне показалась олицетворением той самой женственности и безмерного терпения, ведь обычной пошлости, которой полно в сытой, размеренной жизни, между нами не было даже намёком. Наверное, в этом была виновата война и обострённое чувство неизбежной гибели – стоило укрофашистам отрезать нас от Лисичанска, мы бы пропали. Кстати, она единственная меня не бросила: все ушли, а она осталась, и мы кое-как доковыляли, попав один раз в изрядную передрыга. Эта передрыга мне периодически снилась: я впервые убил человека, глядя ему в лицо, до этого я стрелял только по фигуркам в степи и не соотносил их со смертью, а здесь – глядя в лицо. Я не был спецназовцем, я не был омовцем, я даже не был добровольцем, я был случайным прохожим, забежавшим на войну по служебной надобности. Пулю, застрявшую в боку, под ребром, я выковырял самостоятельно, она мешала мне идти; с ногой оказалось хуже, потому что я не мог дотянуться, а попутчики мои были для этого дела абсолютно негодными, взглянув на рану, они падали замертво, требуя задаток в виде спирта, мата и подзатыльников.

Звали женщину Ника Кострова, и я до сих пор ломаю голову, почему она не пришла хотя бы поведать? Неужели я ошибся в ней, я не знаю; я уже давно живу без претензий к этому миру.

Меня привезли, подняли на седьмой этаж и водворили в отдельную комнату с ликами Божьей Матери на стенах и красными антуриумами на подоконниках. Здесь было тихо и спокойно; впервые за полгода я почувствовал себя человеком, меня даже перестало тошнить.

Прежде чем залезть в ванную и привести свои мощи в божеский вид, я, испросив у Валентина Репина разрешения, сел за его компьютер и разослал во все редакции современной прозы роман об актёре Андрее Панине, которого обожал и который единственный не давал мне сдохнуть на госпитальной койке.

Мне нравились его настоящая, а не лакированная харизматичность киношных мальчиков с московских подмошков. Достаточно было взглянуть на его лицо со шрамами, на неоднократно перебитый нос, на сломанные уши и деформированные кулаки, чтобы поверить в него без остатка, а главное – в нём было то мужество, которое редко встречается в жизни – способность идти до конца; можно сказать, что я кое-чему у него научился, например, не мечтать о пустопорожнем, а заниматься делом. Я писал роман-надрыв в перерывах между операциями; мне снилось, что я подбираюсь к чему-то большему-большему, но никак не могу ухватить его. Я уже знал, что всё подлинное – трудно, поэтому вложил в этот роман всю душу, а ещё я понял – зреть в корень – это смерть, пусть отсроченная, но всё равно смерть, но деваться было некуда.

После этого я позволил накормить себя «до пуза». Потом я спал, потом снова спал, потом ещё раз спал, и только глубоким вечером мы пили водку и вспоминали всех тех, кого уже не было с нами. Кажется, началась суббота, и Валентину Репину не надо было утром топтать на работы.

Работал он, кстати, на «Мосфильме», вторым перфекционистским режиссёром, снимал рекламные ролики и клипы, но мечтал о большом кино, и рвал на мелкие клочки все хорошие книги от безысходности.

– Мне уже сорок три! – кричал он запале. – Какой ужас!!! А я всё ещё на побегушках, и никакого просвета! – рыдал он над своей тайной после третьего стакана водки.

– Да... старик, не повезло тебе, – сетовал я, но ничем помочь ему не мог, разве что слопать его порцию жирного гуляша, которым в тот вечер так и не наелся.

Уловив мою иронию, он цедил, сжав зубы:

– Всё равно я буду снимать!

Порой он, как маленький, тыкал в экран и дико кричал: «Это я, я, я!» Вначале мы с Жанной Брынской прибегали смотреть и радовались вместе с ним, а потом – через раз, потом – перестали, надоело.

– Это переходный возраст, – догадался я, глядя на Жанну Брынскую, которая тихо осуждала Валентина Репина за горячность.

– Миша, это не переходный возраст, это старость! – Жанна Брынская пребольно дёрнула мужа за рукав.

И я знал, что свою работу он обожает и завидует мне чёрной завистью: мол, воевал, получил ранение, хоть какое-то развлечение, стал героем и всё такое прочее, не менее историческо-романтическое, только забывал, что я едва не сдох. А на эту самую проклятую войну его не пускала Жанна Брынская. На мой же взгляд, мог бы сбегать в качестве хоть первого, хоть второго режиссёра, а потом снять фильм, потому что об этой войне явно умалчивала киношная и литературная элита Москвы. То ли она её не понимала, то ли её просто не интересовала, а, может, то и другое вместе взятое. Некоторые, правда, заявлялись с одной единственной целью – попиариться на крови Донбасса с прицелом, ни много ни мало, на президентство вслед за Путиным, ну да Бог-то им судья.

А бандеровцы убивали нас за то, что мы думали и говорили по-русски.

* * *

В отличие от больницы, где еда была не лучше, чем конский пот, теперь меня откармливали, словно бройлера: куриные потрошки, бульончики, пышные булочки со страусиными яйцами и разнообразнейшими паштетами, котлетки, рагу, нежнейший ростбиф, все виды шницелей, отбивные, узбекский плов, разумеется, холодец, водка, коньяк, пиво и прочее, и прочее, и прочее не менее вкусное и сытное. Жанна Брынская крутилась как белка в колесе, истощая семейных бюджет не хуже мировой войны. Правда, иногда филонила за компьютером, и тогда из ресторана приносили первое, второе и третье, а на закуску – огромную пиццу, которую мы с Валентином Репиным уминали в два счёта под пиво и хвалу его жене.

Обычно Жанна Брынская заглядывала ко мне в комнату и спрашивала:

– Миша, бульончик будешь?

– Какой?

– Куриный.

– А с чем?

– С чесночными пампушками.

– Буду! – вскакивал я.

У меня был отменный аппетит, я всё время что-то жевал и решил, что попал в рай, и даже стал дремать по ночам, дабы не оставлять шансов кошмарам, которые таились где-то на периферии сознания. Порой они крутились, как документальное кино, с любого места. Например, мы оставляем Степановку, я оглядываюсь на человеке, который бежит ровно за мной; я стреляю и вижу, что попадаю: пули рвут на нём одежду, а он не падает, потому что в броннике и потому что обколотый вусмерть, а дважды убить уже нельзя, но я всё равно стреляю и стреляю, а он всё не падает и не падает, а только хищно ухмыляется.

А ещё Жанна Брынская по утрам поила меня настойкой болиголова. «Я знаю, что я делаю!» – авторитетно заявила она в ответ на мои возмущения: а не отправят ли меня нарочно с помощью алкалоида кониина к праотцам. К моему удивлению, я начал семимильными шагами продвигаться к поправке: кровоподтёки от капельниц на моих руках быстренько сошли, синяки под глазами побледнели, контузия моя нехотя отступила, я даже лучше стал слышать, и всё больше походил на человека, у которого даже волосы стали расти гуще и скрывали шрамы. Я постригся под «полубокс» в ближайшей цирюльне, и походка моя с аптечной палкой сделалась

твёрже и уверенней. Меня исподволь перестало тошнить, и я воспрянул духом. Продавщицы в соседнем супермаркете почему-то стали бледнеть и краснеть, глядя на мои мощи. А одна бедняжечка, на личной карточке которой значилось имя «Татьяна Мукосей», даже трижды мило сообщала, что свободна после семи. «У вас в горле перекатываются голодные камушки», – поведала она зачарованно, глядя мне в глаза. Дважды я замечал её у подъезда дома, где жил, и стал ходить, озираясь. В Донецке я не привык к подобным знакам внимания и не знал, что нравлюсь женщинам до такой степени, чтобы бегать за мной собачонкой, ведь моя жена уверяла меня в обратном: «С твоим рубильником и голодным подбородком ты годишься разве что в зоопарк!» Должно быть, москвички были другого мнения, или им некуда было деваться при такой скученности и дефиците мужского внимания, вот они и кидались на отработанный материал вроде меня.

А потом они всё испортили: привели Аллу и устроили банкет с шампанским и брызгами. Спешите, братцы, спешите, подумал я и заподозрил, что меня хотят сбавить с рук. Хотя, конечно же, это было не так; Репины мои были самыми бескорыстными людьми, которых я знал в жизни, их мучила ностальгия по прошлому. Есть такая болезнь – неизбежная любовь к прошлому, я тоже исподтишка страдаю ею, когда мне делать нечего. Люди такого склада, а их надо уметь разглядеть, становятся настоящими друзьями, стоит только попасть в их обойму.

Звонок в дверь и мышиную возню в прихожей я, естественно, пропустил мимо ушей: мало ли кто ходит к моим друзьям на правах гостей. Жанна Брынская, как обычно, позвала обедать, и я в предвкушении вкусовых и с бурчанием в животе, способным разбудить медведя в берлоге, оторвался наконец от Валикиного ноутбука, на котором барабанил с утра до вечера, выбежал из «своего» обиталища опять же в Валикином коротковатом и маловатом халате, в Валикиных походных шельварах и Валикиных же тапочках на босую ногу. К своему конфузу, я обнаружил на кухне шикарную шатенку, до странности похожую на мою жену, если бы не одна деталь: глаза у моей жены были карими, а у шатенки – синие, как циферблаты моих часов. Мне так и захотелось позвать её по имени – Наташка, хотя такая шикарная женщина могла прийти к кому угодно, но только не ко мне. Наверное, там, в темноте коридора, прячется ещё кто-то, решил я, сейчас он выйдет и покажет мне средний палец. Разумеется, я помнил, что они меня желали с кем-то познакомить, но не ожидал, что это произойдёт так быстро. А самое главное, морально не подготовили к экспромту.

– Здравсте... – растерялся я и убрался, чтобы напялить единственный парадно-выходной костюм, то бишь свою зелёную униформу.

– Алла, это Михаил, – представила меня Жанна Брынская, когда я вернулся, чтобы засвидетельствовать своё почтение.

– Миша, это Алла Потёмкина, – мы тебя о ней говорили.

Лицо Жанны Брынской выражало искреннее участие в моей судьбе.

– Очень приятно, – выдал я из себя.

Сорок шестой размер, такой же, как и у моей Наташки, безошибочно определил я, рост метр шестьдесят три, грудь – третьего размера, только брови густые, новомодные. У Наташки – тонкие и длинные. Маникюр розовый, ухоженный, неброский, со вкусом, тоже такой же, как у моей жены. И духи выдержанные в холодном аромате. А абрис скул голодный и стремительный, словно нацеленный куда-то во вне.

В общем, всё, что я любил в прошлой жизни, а в настоящей – относился с большим сомнением, подозревая в дешёвой имитации, ибо был убежден, что в жизни ничего не повторяется, кроме моих кошмаров. Казалось, Алла Потёмкина, с её манерами красивой женщины, всё поняла, сжала кулаки и густо покраснела.

Валентин Репин быстренько замаял образовавшуюся неловкость:

– Ну, рыбы... за знакомство!

И мы выпили: мы с Валентином – водку, а женщины – какую-то кислятину. В общем, Репины очень и очень постарались: Алла походила на мою жену как две капли воды. Я так и сказал, закусывая:

– Вы очень похожи на мою Наташу.

– А что в этом плохого? – занервничала Жанна Брынская, аж подпрыгнув из-за моей бестактности, и сноп молний полетел в мою сторону, как в сериале «Властелин колец».

– Ничего, – пожал я плечами.

Тогда она смутилась.

– Простите, я не знала...

Быстрый взгляд в сторону Жанны Брынской значил, что её, действительно, не предупредили.

Жанна Брынская тоже покраснела, что чрезвычайно шло к её волосам, цвета тёмной меди. Она их по старинке укладывала волнами.

– Ну что? Когда-то же надо начинать. Ты лучше ешь! – подсунула мне котлетку величиной с утюг и в отместку полила её сливовым соусом, чтобы я не болтая лишнего, а трескал за обе щёки.

Я не сказал им, что мы поколение, которому брошен вызов и что моё место там, в Донбассе, а не здесь; кто его знает, наверное, они просто рассмеялись бы мне в лицо, потому что ничего не поняли бы от своей размеренной, городской жизни, просто я им нужен был, чтобы утвердиться в ней ещё сильнее и презирать меня, неудачника и калеку.

С минуту я пожирал содержимое моей тарелки, как голодный неандерталец, который неделю бегал за лосем по лесу. А очнулся только тогда, когда понял, что все зачарованно смотрят на меня, особенно – Валентин Репин, потому что давно держал навесу рюмку водки и ждал, когда я насыщусь. Никогда в жизни я так много и вкусно не ел, как в те дни.

Они были сытыми и упитанными горожанами, спящими в чистых, тёплых, уютных постелях. Им трудно было понять, каково это иметь половину своего природного веса, не доедать весь предыдущий год и носиться по полям и весям с автоматов руках. Я часто потом встречал у москвичей этот оценивающий взгляд. Они, верно, думали, что ты испытываешь, когда в тебя стреляют в опор, но почему-то не попадают, или когда рядом громоподобно взрывается мина и всё окрест осыпает градом осколков, но в тебя почему-то не попадает ни один осколок, или когда ты притаскиваешь с нейтралки раненого товарища, а он уже мёртв, или когда ты ешь рядом с мёртвым товарищем, потому что надо есть. Многие спрашивали меня об этом, однако, я ни разу в своих рассказах не добился достоверной точности, чтобы меня правильно поняли, трудно было передать то, что передать невозможно, поэтому я перестал правдиво отвечать на подобные вопросы, отделяясь односложными фразами типа: «Было жутко, но не страшно». Самое удивительное, что мне верили из-за опасения повредиться в рассудке, потому что это была не та, «старая», война, о которой все всё знали из хроники, а совсем «свежая», число славынская, с умножающимся ожесточением, и она могла прийти в любой дом, дотянуться даже сюда, в Москву. Никто этого не понимал, кроме меня и нескольких тысяч людей, сидящих в окопах на западной фронте.

– Простите, – устыдился я. – Я всё время голоден, – и отложил вилку.

Я месяцами ел прогорклую овсяную кашу и полусырую картошку без соли, теперь набирал упущенное, и ожидание моё было оправдано. «У вас типичное окопное истощение», – сказала мне монументальная врачиха, пальпируя мой тощий живот на третий день госпитализации, и плотоядно глядела на меня как на экспонат для диссертации.

– Это... рыба... ешь, ешь! – с проносом поиздевался за всех Валентин Репин. – Ты не гляди, что мы здесь зажрались! Мы свои, только притворяемся равнодушными!

Валик один меня понимал, он не был исконным москвичом, он был с Урала и знал, что за МКАДом тоже есть жизнь.

– Здоровый мужской аппетит, – возразила Алла Потёмкина таким покровительственным тоном, словно взяла меня под опеку. – Вы же воевали?!

А вот этого не надо! – едва не запротестовал я. Не надо списывать на мои болячки.

Они сделали из меня страдальца. А я не хотел им быть. На страдальцах потом отыгрываются по полной за то, что они не оправдывают твоего доверия, выскальзывают из сетей сочувствия и становятся равным тебе. А это раздражает. А ещё я вспомнил Нику Кострову. И задал себе избитый вопрос: «Куда ты пропала?» И сам ответил себе: «Потому что такие женщины всегда замужем». Я подумал, что Ника Кострова более цельная, чем я себе представлял, оттого и пренебрегла мной.

– Ещё бы, накормить такого мужчину, – поддакнула Жанна Брынская, намекая на мой рост и костистость.

А Валик вежливо напомнил:

– Рука затекла...

Я спохватился: мы выпили ещё и ещё; и я наконец расслабился. Мне даже стала нравиться Алла Потёмкина, хотя я не доверял ей. С какой стати она, такая красивая, умная и, должно быть, состоявшаяся, будет интересоваться мной, отставной козы барабанщиком? Нелогично!

Я даже представил наш диалог:

– Вы не москвич, вам трудно понять, – ответила бы она, отчасти смутившись своей откровенности.

– А-а-а... – кое о чём догадался бы я и перекатил бы в горле голодные камушки. – Дефицит мужчин?

Я представлял всех москвичей, без исключения, в галстуках и белых рубашках, всех спешащих и всех чрезвычайно занятых делом и зарабатывающих кучу денег, не зная, куда их девать.

– Нет, – удивила бы она меня. – Настоящих мужчин!

– Уверяю вас, я не настоящий, – поскромничал бы я, полный, однако, гордости за весь донецкий мужской род.

Она засмеялась бы, как моя Наташка Крылова:

– Самый что ни на есть настоящий! Уж поверьте мне, я знаю!

Оказалось, я подвергался бы анализу! Я был бы удивлён, чего там греха таить, даже возмущён до глубины души. Репины, естественно, выложили бы обо мне всё, что знали и о чём догадывались, и от этого я почувствовал бы себя словно голым на Красной площади.

– Спасибо, – ответил бы я с горечью, потому что моя Наташка была неповторима, иначе стал бы я волочиться за Аллой Потёмкиной.

Однако реальность оказалась хуже, чем я ожидал и походила на ледяной душ: Алла Потёмкина владела сетью «Аптечный рай», «Сталинская аптека», «Аптека на перекрёстке» и ещё чем-то там, чего я не расслышал, у неё был серебристый «бьюик», скромный домик на Рублёвке за каких-то двадцать пять миллионов долларов, усадьба в Альгаве и аллигатор в бассейне. Конечно, это оказалось не так, конечно, половину я придумал всего лишь в раздражении, даже московский снобизм приплёл, но Жанна Брынская страшно ей завидовала, и они болтали об этом весь вечер, казалось, потеряв всякий интерес ко мне. У меня не было опыта общения с бизнесвумен, и я подумал: «А ничего, что она из другого класса?» Но в тот вечер и после она никогда мне этого не показывала.

Действительно, зачем я ей? – спросил я себя и незаметно напился. Много ли тогда мне было нужно? Я сидел, набычившись, пытаюсь быстрее протрезветь, и думал, что в этой жизни меня понимала одна моя Наташка Крылова да и то не всегда, когда наши чаяния совпадали. Последние годы они совпадали всё реже и реже, и мы, постепенно удаляясь друг от друга, не могли договориться, хотя, мне казалось, я предпринимал поистине титанические усилия,

дабы наш союз не распался. В конце концов, от меня, романтика, остался голый функционал с гигантским знаком вопроса: «А зачем я живу?!»

А у неё была дурная привычка носить длинные халаты, которые скрывали её длинные ноги, я бы предпочёл наоборот, в смысле халатов, однако, увы, в этом плане я был лишён права голоса, ибо был мужчиной, а мужчины в её понимании не заслуживали ничего большего, чем молчаливое презрение. Так она была воспитана, и так она меня воспринимала.

* * *

Ночью я проснулся мокрым от ужаса и бессмысленно пялился в тёмный потолок, не понимая, где я и что я. Красные цветы антуриума, похожие на пластик, казались мне пятнами крови на скате окопа.

Мне снова приснилась та изрядная передряга, в которую мы с Никой Костровой попали. Конин и Бурыга, с позывными соответственно – Конь и Бур, бросили нас под предлогом быстро прислать помощь. Хорошо хоть оставили флягу с водкой. Черед полгода одного из них, Бура, я встретил в центре города, в баре «Зеро», здорового и упитанного, кормящегося волонтером за счёт фонда Ахметова, и разбил ему морду. Он ползал передо мной на коленях среди осколков посуды, пускал кровавые сопли и просил прощение. Но это уже другая история, в которой он заплатил сполна: нас забрали в полицию, а когда разобрались в причинах конфликта, то Бура отправили в стройбат на передовую, где он, должно быть, до сих пор роет окопы и строит землянки, и это ещё по-божески, потому что могли сделать калекой или посадить в камеру к бандеровцам на перевоспитание, или показательно расстрелять за предательство.

А Конь пропал. Наверное, его кто-то предупредил о том, что я его ищу. Больше его никто не видел и ничего о нём не слушал. Наверное, он удрал подальше. Тогда из-за обстрелов и жаров в городе многие уезжали в Россию. Я ему не судья, потому что для войны нужно ожесточится и жить с этим, не многим это по силам.

На третий день из-за жары и бесконечных движений моя рана воспалилась, и надо было ею заняться. До этого я не трогал повязку, которую мне профессионально наложил наш дылда, баламут и ходок, санитар Герасим Полеводов. Кажется, из-под неё что-то текло. Оружие свой я зарыл в поле, оставив один пистолет, который мне тоже казался невероятно тяжёлым. При каждом шаге он хлопал меня по левому бедру, отдаваясь шилом – в правом. Я хотел избавиться и от него, но слава богу, провидение не дало.

Наверное, у меня начиналась лихорадка, потому что я порой мало что соображал: жаркая степь походила на бескрайнюю скороду, по которой мы безотчётно кружили. Где-то так за маревом лежал спасительный Лисичанск, но мне казалось, что мы к нему так и не приближаемся, хотя всё делали правильно: двигались так, чтобы солнце всегда было справа, а вечером – за спиной.

Мы не знали, что, Стрелкову удалось закрыть прорыв и остановить наступление укрофашистов, мы боялись, что нас отрежут и зароят здесь в степи.

Мы спустились в овраг и развели костёр, Ника Кострова сняла повязку с моей ноги, и даже я ощутил тошнотворный запах гноя.

– Что там?.. – спросил я, делая большой глоток из фляги.

– Надо чистить, – ответила Ника Кострова с невозмутимым лицом, и я понял, что дело, если не дрянь, то, по крайней мере, плохое. – Выдержишь?

– Выдержу, – ответил я храбро, подозревая, что меня ждёт крепкое испытание. – Ты что, медик?

Она ничего не говорила мне об этом, она вообще, была молчаливая, и нравилась мне всё больше и больше, но тогда я был в таком смятении после смерти жены и дочери, что готов был переспать с любой женщиной, лишь бы забыться.

– Что-то вроде того, – сказала она, профессионально разглядывая рану.

Я еще возмущался, даже пыхтел, и вдруг меня как током стукнуло: господи, действительно, медик! «Хирургиня, – как плотоядно говорил о ней Герасим Полеводов. – Я б к такой сходил...», – и облизывался, как кот на сметану. Я сам однажды видел её мельком, когда пробежал с поручением комроты Дорофеева мимо палатки с красным крестом, но за фронтовой суетой забыл, хотя забыть такую женщину было почти невозможно, сложена она была, как богиня, с той единственной меркой, которая приходится на одну из миллиона. Вот откуда она мне показалась знакомой.

Должно быть, Ника Кострова угадала мои мысли, потому что снисходительная улыбка скользнула по её губам.

– Не бойся, я аккуратно.

Насчёт «аккуратно» пахивало садизмом, хотя, как я потом понял, рука у неё, действительно, оказалась лёгкой. Она продезинфицировала в пламене лезвие ножа, и с выражением величайшей твердости села мне на ногу, а потом, как я понял, просто полоснула по ране. Из глаз у меня грызнуло, а в голове взорвалась граната, я невольно дёрнулся, как сноровистая лошадь, и Ника Кострова сурово прикрикнула:

– Тихо... Тихо... Тихо!

И целую вечность, казалось, ковыряется у меня в ноге; я не узнал своего голоса, до того он был противным. На этот голос они, видно, и пришли.

Наконец она произнесла:

– Вот и всё, вот он, твой осколок. Жаль, рану нечем зашить.

Боль отпустила, сделалась терпимее, и я устыдился своих слабостей и воплей.

– Ничего, ничего, – похвалила она так, когда помнят о любовной ночи, но не дают развития своим чувствам. – Ты хоть скрипел зубами, а другие просто убегали, – и вылила на рану остатки водки.

Тогда-то они и возникли, как тараканы, из глубины оврага со своими жёлтыми повязками на рукавах и ненавистными, как жупел, взглядами.

– О! Дивись, ватники! – с галицинским акцентом произнёс первый из них, чернявый и вертлявый, с гуцульскими усами, с чубчиком из-под косынки, и наставил на меня зрачок автомата.

Он не ударил по одной-единственной причине: Ника Кострова закрыла меня, как закрывает мать ребёнка, и отвлекла его внимание, а я успел сунуть руку под куртку, где у меня лежал старый, верный «макаров» с пулей в стволе. Бур, который надо мной вечно смеялся: «Чего ты, как параноик, ходишь с пулей в стволе?!», оказался глубоко неправ. Ну да после мордобития я простил его.

– А ну отойди! – приказал первый и грубо оттолкнул Нику Кострову, глядя на неё так, как глядело здесь, на фронте, подавляющее большинство мужчин. И я был уверен, что если бы не моё присутствие, Конь и Бур воспользовались бы ситуацией раньше бандеровцев.

А второй, золотушный и плюгавый, сказал зловеще:

– Я первый!

Он здорово пшекал, и, должно быть, поэтому и был командиром.

– Это почему?! – повёл глазами чернявый, которому мешала давняя вражда между поляками и украинцами.

– Потому! – и на правах сильного дёрнул Нику Кострову к себе золотушный, хотя она всеми силами не поддавалась ему, не испугалась, не закричала, а словно окаменела.

Первый, не приняв меня в расчёт, потому что оружия у меня не было, потому что я был никаким, в крови, в вате, в бинтах, с раной в ноге, то есть уже нежилецом, выстрелил, практически, в упор и... промазал. Ника Кострова, с её вызывающе прекрасными формами не дала отцепиться его взгляду, и надо было ещё раз нажать на курок, потому что «переводчик» был

поставил на одиночный. Но этого я ему не дал сделать. В тот момент, когда пуля обожгла мне щеку, я, не дрогнув, поднял пистолет и выстрелил в его наглую бандеровскую харю, затем, отметив краем сознания, что он стал заваливаться, как неживой, повернул ствол и выстрелил в спину второго, который оказался аховым бойцом, вместо того, чтобы уложить нас одной очередью, развернулся и побежал, петляя, как заяц, по сухому дну оврага, хотя и не так проворно в своём броннике, как должен был бежать смертельно испуганный человек, но было ясно, что всё равно уйдёт; только с третьего раза, я попал ему в затылок, и он рухнул лицом вперед, а «макаров» сухо щёлкнул и замолк. В обойме оказалось только четыре патрона. Нам повезло в очередной раз.

Вот на этом-то сухом щелчке я всякий раз и просыпался от ужаса, потому что я не знал, убил ли того первого, чернявого, с галицинским акцентом, с гуцульскими усами и с блямбой на виске. Но я его убил, и его глаза, за мгновение до выстрела, равнодушно смотрящие на меня через зрачок автомата, оторопело уставились в голубое небо.

Этот пустой «макаров» я долго таскал в кобуре, как талисман, пока в Донецке не запретили носить оружие.

* * *

Что-то происходило, тёмное, мрачное, сокрытое от меня: телефонные разговоры, которые прерывались при моём появлении, многозначительные взгляды, хихиканье за спиной и недомолвки; в общем, я понял, затевались очередные милые козни, и, выдав моим друзьям полный карт-бланш, барабанил по ноутбуку, пока вдохновение было благосклонно к моей душе. Небо за окном заметно поглубело, из него уже давно не сыпались белые мухи; а на подоконнике у Жанны Брынской расцвели крокусы и гиацинты. Репины всё ещё мелко интриговали, думаю, насчёт Аллы Потёмкиной. Похоже, они влезли в долги. Такого лоса, как я, надо было ещё прокормить. Мне было стыдно до безумия, но уйти от них я никуда не мог.

Я перестал хромать, когда забывался, и даже пробовал боксировать против Валентина Репина, но он по-прежнему давал мне фору, и я понимал, что ещё ни на что не гожусь против его альпинистской подготовки и левого хука, хотя у меня был хорошо поставленный дар правой. Как твердил мой первый и последний тренер Юрий Вадимович Бухман: «У тебя природная координация, будь ты собраннее, тебе бы цены не было». В своё время я мог выбить зубы противнику через капу перчаткой, но те времена давно прошли.

Редакции молчали. Правда, одна из них указала мне от ворот поворот сразу же, ещё в январе, на второй день после «мыла», и я не очень расстроился, потому что редакция, со звучным названием «Арбат» была маленькая, плюгавая и издавала в год, как сама же стыдливо объяснила в письме, десять пошлых книг (безбожно ввали, конечно), и я был явно не ко двору, чужак самотёком, непонятно откуда взявшийся, написавший не то, что надо, не с тем подтекстом, который так любят либералы, не туда глядел, не по-московски дышал, или как надо было ненавидеть известного актёра, чтобы даже не прочитать роман о нём? Я был уверен, что если бы редакция хотя бы познакомилась с текстом, она бы не устояла перед соблазном приделывать к нему обложку, сработал бы рефлекс редактора, но редакция продемонстрировала московский снобизм, пофигизм и полнейшее безразличие к литературе, словно она, это литература, имела право только на московские корни. К тому же я давно понял, что москвичей ничем нельзя пронять — даже романом о их недавнем кумире, всё они видели, всё они знали, а Андрея Панина, мягко говоря, не уважали; и это лицемерие меня всегда удивляло. А потом сообразил: издательство «Арбат» и иже ему подобные в пелотоне зарабатывают деньги на графоманах, преимущественно которых в массовой массовости и отсутствие комплексов неполноценности, делающих их непотопляемыми, как американские авианосцы.

Вдруг я был поставлен перед фактом: Алла Потёмкина пригласили нас на день рождения. И Валентин Репин, словно невзначай, попросил, (при этом левый глаз у него от вранья предательски косился в потолок):

– Рыба... надень орден...

То, что я пойду в заштопанной, выдавшей виды, боевой форме, Валентина Репина несколько не волновало, а вот орден ему зачем-то понадобился.

– Стоит ли?.. – усомнился я, представив реакцию московских трудоголиков, которым, по моему мнению, всё было до лампочки.

– Они ещё такого не видели, – заверила меня Жанна Брынская с таким значительным видом, что я заподозрил их в лицемерии, но взглянув на их открытые, честные лица, устыдился собственных мыслей и поклялся никогда ни в чём плохом никого не подозревать.

– Ладно... орден, так орден, – решил я, подумав, что если вообще не пойду, то будет ещё хуже.

Честно говоря, я бы завалился с ноутбуком на диван и предался бы любимому занятию – сочинительству, но надо было куда-то топать из-за солидарности с Репиными.

– Точно-точно... – подтвердил Валентин Репин. – Даже не сомневайся.

Орден у меня был самый простой: «георгиевский» четвёртой степени. Не боевой. Формальный. Я целый год не числился нигде, пока не попал к Ефрему Набатникову, позывной – Юз, так что официально я нигде не воевал, кроме последних двух месяцев.

И я его надел. Лучше бы – проглотил. Весь вечер я был в центре внимания и устал, словно на мне пахали, потому что мне было стыдно. Орден-то был формальный, просто за участие в сопротивлении, а я его нацепил как знак принадлежности к истинно русскому миру.

* * *

Алла Потёмкина, со своим абрисом сухих, порывистых скул, вцепилась в меня, как в приз из «поля чудес», таскала из зала в зал своего огромного дома, как бобика на цепочке, и всем представляла, обращая внимание в основном на орден.

– Наш герой! Из Донецка!

Мне казалось, они все думают с презрением: «Ну что с того, что ты там был?»

Однако женщина бледнела от моих голодных камушков в голосе, предлагали забить на приличие и выпить на брудершафт. Мужчины морщились от рукопожатия и ложились штабелями от чувства зависти: а у нас кишка тонка!

Я вспомнил, что до госпиталя заводился с пол-оборота и готов был разорвать любого, кто что-то скажет не так в отношении ДНР, а здесь я постарался сделаться паинькой, душечкой, телёнком с мокрым носом. Алла Потёмкина, чувствуя мою непонянку, пугалась пьяного скандала и тащила меня дальше. В огромные окна усадьбы, занавешенные тяжёлым бархатом, заглядывала не менее огромна луна. Друзья Аллы Потёмкиной были взволнованы присутствием чужака, статус которого невозможно было угадать даже по его одежде.

Вначале я сгорал от стыда и ужаса, а потом набрался терпения и даже грудь выпятил, стараясь меньше опираться на аптечную палку. Дамы оценивали меня совсем по другим качествам, (я подозревал, что Алла Потёмкина втихаря потешалась), им нравился мой подтянутый армейский зад, и от парочки из них: женщины гренадёрского роста с чёрными усиками и милой блондиночки с ярким ртом я даже заслужил ободряющего шлепка по одному месту и едва не побежал, дабы избежать позора, а один подвыпивший джентльмен долго и с любопытством разглядывал мой орден, оценил на вес и наконец спросил без капли подвоха:

– А настоящий?!

В его глазах читалась большая глупость и непонимание, откуда я такой взялся.

– Настоящее не бывает! – с возмущением заверила его Алла Потёмкина.

– Блестит больно тускло, – как скоморох, промямлил мужчина.

Я понял, что для таких, как он, Донбасс – это место, где живут одни неудачники.

– Ах, Партикулов, какой вы тёмный! – авторитетно заявила Алла Потёмкина и с досады больно дёрнула меня за руку, словно я был Партикуловым: – Сейчас я познакомлю тебя с очень интересным человеком. . . – сказала она и посмотрела на меня так, что я понял, ни в коем случае нельзя опростоволоситься, родина не простит.

Честно говоря, я запутался во всех этих лицах и в их значимости по рангу. Моя Наташа Крылова поступила бы по-другому, она бы просто не повела меня к такому человеку, как Партикулов, тем более, ко всем этим красивым, алчущим женщинам с кровавыми ноготками.

– Ах-ах-ах! – покривлялся Партикулов нам во след и, плюхнувшись на стул, потянулся за рюмкой.

Алла Потёмкина оглянулась, но ничего не сказала, однако, по лицу её я сообразил, что Партикулов – пустой человек, абсолютно случайно попавшийся нам на пути.

Она представила меня следующему человеку, мнение которого, похоже, очень уважала:

– Роман Георгиевич, вот человек, о котором я вам говорила! – сказала она вежливо, если не крайне осторожно.

Я посмотрел на его точное выражение лица. Да это Пхенц! – пренебрёг я, а зря.

Смешной, горбатый человечек, в стоптанных башмаках, с носом-картошкой и лохматой седой головой, отложил вилку и развернулся к нам всем телом:

– О! – И замолк, обратившись в репейник.

У него была мягкая грудь, простое лицо сапёра, ежедневно рискующего жизнью, и цепкие глаза, оценивающие вас по признакам воспарения. Было такое ощущение, что, несмотря на небольшой рост, человек занимает чрезвычайно много пространства, и все люди к нему прислушиваются и ловят каждое слово. Горб его только красил. Он был его знаменем и выделял из толпы.

– Здравствуйте! – напомнила Алла Потёмкина о себе.

– Здравствуйте, – коротко перевёл на неё взгляд Роман Георгиевич и улыбнулся, как старой знакомой.

Разумеется, я его где-то видел, но не помнил, где именно: он начинал смеяться и мелко трястись ещё до того, как заканчивал фразу. Всё ж таки одно дело лицезреть человека по телевизору, а другое – вживую, два разных впечатления. Я нахально подумал, что он будет воротить свой гениальный нос от моей штопаной формы, но он ухом не повёл. Расчёт Аллы Потёмкиной оказался верен: герой войны, изрядно потрёпанный, с нашивками «Армия ДНР», не каждый день такого зверя увидишь. Не открываться же тайну о своих ранениях и об осколке в лёгком, но Роман Георгиевич и сам кое о чём догадался, покосившись на мою аптечную палку.

– Похоже, война вас не пощадила. . . – произнёс он, поднимаясь, осторожно, чтобы не задеть и не рассыпать меня на кусочки, однако, со всё возрастающим интересом. – Вы такой же, как в википедии, я вас сразу узнал!

Это был скрытый панегирик, и я самонадеянно оценил его: обо мне в Москве слышали. Ха-ха! Здесь трижды удавятся, прежде чем кого-то признают. Но если уж признают, то береги свою репутацию, ибо противоборствующие кланы начнут раздирать по кирпичикам и растаскивать по своим норкам до полного испепеления.

– Да. . . – я не знал, что ответить, растерявшись; получилось естественное смущение.

– Ну, ничего, ничего, – ободрил он меня, как больного на операционном столе, – не каждый день к нам приезжают героини «оттуда».

«Оттуда» – это, значит, с войны. Я вроде вышел из педиатрического возраста, но поддался его чарам.

– Я не герой, – возразил я, моментально припомнив все мои мытарства, которые под воздействием Репиных, Аллы Потёмкиной, а теперь уже и – Романа Георгиевича, превращались

в осознанное движение души, теперь они мне казались не поводом для ночных кошмаров, не обычной солдатской лямкой, а романтикой, которая вдруг кому-то стала интересной.

Не знаю почему, но в тот момент мне снова захотелось очутиться в осенней степи с отрядом Калинина, хотя он сделал всё неправильно и погиб из-за собственной глупости. И в ноздри ударил сырой запах крови и горящего камыша, однако, в тот день на меня это почему-то не произвело гнетущего впечатления, а коснулось лишь тенью крыла, как не очень приятное боевые воспоминание.

– Позвольте нам судить, – Роман Георгиевич остановил меня с выражением неловкости на лице. – Роман ваш сделал своё дело!

Пафосом здесь и не пахло. Романа Георгиевича было очень серьёзен.

– Как? – округлил я глаза и приготовился к взбучке, на которую явно не мог ответить, учитывая разницу в возрасте и весовых категориях.

– Пойдемте! – он взял меня под руку, всё ещё оглядывая с большим любопытством мою медаль и мою аптечную палку, и повёл к большому кожаному дивану и креслам, напротив которых стол ломился от выпивки и закуски.

Я поймал себя на том, что от учтивости согнулся в три погибели. Алла Потёмкина с выражением ужаса на лице последовала за нами. Я беспомощно оглянулся: её голодные скулы призывали меня к сдержанности, а ещё она подала мне знак глазами: не волнуйся, я с тобой, и была страшно похожа на мою Наташку в минуту душевного волнения, если бы только скинуть годков десяток в наших отношениях.

Роман Георгиевич доброжелательно усадил нас с Аллой Потёмкиной, налил три бокала портвейна «баррос руби» (так было написано на пузатой бутылке) и сказал:

– Самый первый! – Он назвал тот самый роман, за который «Крылов» мне в двенадцатом году не заплатил ни гроша, а теперь продавал исподтишка в «литресе» под видом букинистической литературы. Схватить за руку я их не мог. – Признаюсь, он мне и самому-то не очень-то нравится.

Что и следовало ожидать от переходного романа. Я понимающе улыбнулся. У меня не было желания спорить. Роман Георгиевич был прав на все сто двадцать пять процентов.

– Вы преувеличиваете его значение, – возразил я. – Вряд ли Стрелкой даже слышал о нём.

– И тем не менее, капля камень точит. – Но это был всего лишь реверанс вежливости в мою сторону, и я приуныл. – А вот второй!.. – Роман Георгиевич сделал паузу, чокнулся с нами по очереди и пригубил портвейн. Манеры у него были царственными и, несомненно, он обладал огромным обаянием, чем сознательно и пользовался. – Второй! Я бы оценил его на пять с плюсом!

И я мгновенно вырос в глазах Аллы Потёмкиной, как Монблан, и услышал небесные колокольчики за спиной, хотя, бьюсь о заклад, мои друзья ничего не сказали ей о моём пристрастии, кроме журналистики, конечно; они и сами не знали, с кем связались. На лице её было написано лёгкое недоумение, а в литературе, я был уверен, она не разбиралась. Что касается суждений Романа Георгиевича, то до меня доходили и более лестные отзывы – даже от моих врагов, которые были куда прямолинейней. Но это не суть дела, всё равно я был и оставался провинциалом, которого при первой возможности объегоривали издательства и ловко щёлкали по носу разные инвалидные журналы.

– Это уже литература! – сказал Роман Георгиевич и с поощрительным выражением пождал губы, приглашая нас подумать над его словами. – Мой вам совет пишите как можно больше и быстрее. Жизнь писателя очень коротка.

– Почему? – не выдержав невнимания к собственной персоне, удивилась Алла Потёмкина.

– Потому что писатель, – живо повернулся он к ней, – как и режиссёр, живёт только тогда, когда его произведения принимают в обществе, а всё остальное время он страдает неизвестностью. Уж поверьте мне, старику, я знаю.

– Роман Георгиевич... – театрально возмутилась Алла Потёмкина, – зачем вы на себя наговариваете?

Позже я узнал, что знаменитый Роман Георгиевич – ну очень дальний её родственник со стороны московской бабушки, и что она на его оселке проверяет всех своих новых знакомых.

– Может быть, для того, чтобы такая женщина, как вы, красивая и умная, подарила мне комплимент, – поднялся Роман Георгиевич. – Ничто так не украшает женщину, как воевавший человек. Желаю вам удачи, – пожал он мне руку, должно быть, приняв нас за любовников. – Думаю, мы ещё увидимся. Что-то мне подсказывает, что просто так такие встречи не происходят.

И я покрылся холодным потом, потому что у меня на языке так и вертелось желание похвастаться моим последним опус об Андрее Панине. Максимум, что мог сделать, Роман Георгиевич в таком случае, это снисходительно похвалить авансом непрочитанный роман. Слава богу, провидение в очередной раз не дало мне сотворить глупость.

– Ничего не бойся, – сказала Алла Потёмкина, когда мы спаслись бегством. – Я всё поняла.

Честно говоря, я не заметил, когда мы перешли на «ты». Произошло это естественным путём. Однако от её слов у меня по спине пробежал холодок: что именно она имела ввиду под словами: «Я всё поняла»?

Я заметил, как Репины с беспокойством наблюдают за нами с другой стороны стола, уж они-то знали сценарий подобных выходов в свет.

– Ты хоть знаешь, с кем ты общался? – спросил Валентин Репин, когда мы с Аллой Потёмкиной плюхнулись рядом с ними.

– Нет, – с простодушием провинциала ответил я.

Валентин Репин назвал известную фамилию: Испанов, насмешливо наблюдая за моей реакцией.

– Мэтр! – воскликнул я.

И Валентин Репин отвернулся и брезгливо поморщился.

– Я думаю, где я его видел, – удивился я и невольно оглянулся: Роман Георгиевич был занят собеседником справа и одновременно слева, и ничего гениального в нём не было, разве что высокий лоб, делающий его похожим на Эйзенштейна, и разумеется, знаменитый Испановский горб, который уже сотни, если не тысячи раз обыгрывался и в литературе, и в кино, и в театре.

– Вот именно! – многозначительно, с сарказмом заметил Валентин Репин. – Вот именно!

– И что теперь?..

Наверное, когда с тобой по-свойски разговаривают такие люди, ты вырастаешь в глазах всех остальных и наживаешь себе кучу врагов. Я не знал, у меня это было первых раз, но именно на это и намекал Валентин Репин.

– Ничего, – в такт модуляции в голосе покачал он головой. – Я с ним в натянутых отношениях. При нём лучше не упоминать моего имени.

– Иначе?.. – спросил я.

– Он тебя забанит на всю оставшуюся жизнь, – со знанием дела поведал Валентин Репин, явно умалчивая что-то нехорошее и тёмное.

– Миша, ты делаешь карьеру, – махнул на мужа Жанна Брынская, нисколько не огорчаясь при этом.

– А-а-а... – кое-что сообразил я и побоялся сглазить робкую удачу.

Мне, как в преферансе, почти что всегда шла непонятная карта: ни то ни сё, ни бэ ни мэ ни кукареку, не поймёшь эту судьбу. Поэтому я с недоверием отнёсся к их словам, включая самого Романа Георгиевича.

– Работа у него какая, – подтвердил мои раздумья Валентин Репин, – морочить людям голову!

– Ага, – только и сказал я, всё ещё не представляя работу механизма столичного мас-медиа.

В нашей провинции такие явления происходили в гораздо меньших масштабах и не заметны для широкой публики.

– Ну что ты говоришь! Что ты говоришь! – возмутилась Жанна Брынская. – Не слушай его. Испанов просто ищет таланты.

– А мы не ищем?! – ущипнул её Валентин Репин.

– Вы не ищите, – отмахнула от него Жанна Брынская, намекая на творческую несостоятельность мужа.

Валентин Репин надулся, как индюк, но не возразил, Жанна Брынская, как всегда, была права. Алла Потёмкина, глядя на них, тихо посмеивалась, должно быть, она ни раз была свидетелем их размолвок. Признаться, мне захотелось ущипнуть её за ушко, дабы увидеть реакцию и проверить, насколько Алла Потёмкина похожа на мою жену, потому что моя бы жена моментально превратилась бы в кошку, и я не рискнул.

– Это хорошо, – наконец сообразил Валентин Репин. – Раз он тебя приметил, значит, использует.

– В смысле?.. – вздрогнул я.

– Не в этом, конечно, – усмехнулся он, потянувшись за водкой, которую джуже любил. – А в другом. Испанов профи. Он везде ищет смысл.

– Ищет? – поморщился я, потому что плохо себе этот поиск представлял: зачем киношнику я?

Потом я понял, что у каждого киношника своя терминология в жизни. Мой друг Борис Сапожков ничего не искал, ничего этого не знал, а просто погиб в редакции, как солдат на посту.

– Если он тебя приметил, значит, ты ему приглянулся.

Я даже не стал возражать, полагая, что он, как всегда, преувеличивает.

– Ну и дай-то бог, – сказала Жанна Брынская и незаметно пожала руку Алле Потёмкиной, однако, я заметил её жест и подумал, не намекает ли она, что мне пора убираться на вольные хлеба; во всём мне мерещился дурной знак.

И тут я сообразил, что просто блестяще сдал экзамен, что Алла Потёмкина понятия не имела о том, что я ещё и что-то пытаюсь изобразить на бумаге, хотя для неё это не имело большего значения, и что я принят ко двору окончательно и бесповоротно. По крайней мере, Алла Потёмкина заявила:

– Я хочу предложить тебе должность.

У Жанны Брынской загорелись глаза, а Валентин Репин степенно поправил на переносице очки и тяжело вздохнул: наконец-то я стану не приживальщиком, а гостем, который будет приходить в бутылкой водки, чему я, конечно же, был не против, а только за.

– Гм... – А я грешил на классовое расслоение. Мне стало стыдно.

– У меня освободилась должность директора по маркетингу и рекламе. Пойдёшь?

Глухая тоска сжала моё сердце. Лет двадцать я не ходит ни на какую службу, а жил на телефоне, то бишь Борис Сапожков мне звонил, а я отправлялся в путь-дорогу. В редакции я появлялся только за лаврами и авансом.

– Соглашайся, Мишаня, – слёзно молвил Валентин Репин.

Я понял, что за два года, которые я его не видел, он успел заматереть, и у него испортился характер в сторону меркантилизма, и горы не помогли.

– Это удача! – вторила Жанна Брынская. – Мы к тебе в гости будем ходить!

Только-то?! А как же любовь? А дружба? Что мне было делать? До пенсии висеть у них на шее? Или видеть каждый день, как всё больше хмурится Валентин Репин, оттого что я шастаю по квартире в его любимых тапочках? Возможно, я ошибался. Возможно, он настолько гостеприимен, что всю жизнь продержал бы меня в «моей» комнате, я не знал, мы не разговаривали на эту тему. Тема была табу. Она была скользкой, непонятной и ненужной.

И я естественным образом воскликнул:

– Но я же ничего не понимаю в маркетинге!

– У тебя будет хороший зам, – многозначительно пообещала Алла Потёмкина.

Я помолчал. Зам это, конечно, хорошо, но я не привык ездить на чужой шее.

– Ну, тогда... – беспомощно оглянулся на своих друзей, которым безоговорочно доверял.

– Ура! – воскликнула Жанна Брынская и, недолго думая, как всегда, чмокнула меня в челюсть, потому что до лба не дотянулась, хотя была роста немаленького.

А Валентин Репин оскалился и с явным облегчением пожал мне руку. Потом я понял, что это тоже заговор – очень талантливый, подвести меня под монастырь так, чтобы я не мог отвертеться, бросил бы марасть бумагу и занялся бы наконец маркетингом и рекламой.

Алла Потёмкина ярко заулыбалась, и дело выглядело так, словно она приобрела породистого пса, породы ландерьега.

Валентин Репин наконец отыскал среди множеств разномастных бутылок вместо водки старый, добрый арманьяк, и мы выпили за мои успехи. Напиток отдавал лугом и бабочками. А ещё я по глупости решил, что жизнь на ближайшие пару лет удалась.

Глава 2. Юз и рог изобилия

В середине апреля главный редактор, Боря Сапожков, тогда ещё живой и бойкий, с белесыми ресницами под которыми прятались весёлые, серые глаза, разыскал меня на одном из митингов, на которые тогда собирались до пятидесяти тысяч человек, площадь больше не вмещала, и заорал в ухо, словно я был глухой:

– Собирайся!

Он был из тех, о которых говорят, «болтлив, но... по делу». Было у него такое свойство наговаривать идеи, черпал он их, вы не поверите, из разговоров с нами, репортёрами. Раз в неделю мы с ним ходили в клуб «Маршал Жуков» играть в пейнтбол, чувствовали себя бывальными стрелками, а после игры – пить пиво с раками и фисташками.

– Куда?! – не понял я из-за того, что динамики орали, как оглашенные; и только одно – выдох толпы: «Россия, Россия, Россия!!!» перекрывал их на мгновение, и тогда эхо уносилось прочь – в весеннее, прозрачное небо.

Ведь по моему мнению, всё самое интересное происходило именно здесь: было пару побоищ, на одном из которых пырнули львонациста, здесь мы выбирали себе лидеров, здесь я познакомился со всеми из будущей элиты ДНР. В марте, когда мы выбирали народного губернатора, Павла Губарева, я сорвал себе голосовые связки и месяц хрипел, как тифозник. Поэтому я, что говорится, видел свою роль в том, чтобы донести до читателя с места событий, а не шлындать по окрестностям. Боря Сапожков скорчил самую отвратительную мину, на которую был способен, мол, не занимайся ерундой, не по чину!

– Ты же мой зам?.. – на всякий случай удостоверился он, потому что я давно хотел уйти на какие-то там обильные хлеба, которые мне обещали на телевидение и ещё в паре неформальных каналов, где свободного времени было ещё больше и можно было ещё больше предаваться безделью и лени.

– Ну?.. – решил отвертеться я любым способом, в том числе и не идти на поводу у начальства, потому что Борю Сапожкова иногда заносило: он напрочь не ощущал рабочего момента и не расставлял акцентов, хотя точно знал, что, где и когда произойдёт, словно ему бабка нащёптывала.

– Чего «ну»?! Чего «ну»?! – возмутился он. – Поезжай в Славянск. Там будет жарко!

С началом донбасской революции Борис Сапожков развил бурную деятельность: разогнал редакцию по городам и весям и, как паук в центре паутины, сел ждать новостей.

– Какое «жарко», Боря?! – удивился я. – А здесь? – и едва не потыкал в пальце в много тысячную толпу, что явно было хулой на его местоимения.

Естественно, я ещё тогда не знал, что в конце концов окажусь под Саур-Могилой и что нас охватит такой энтузиазм по одному единственному поводу – мы сбросили украинское иго, что даже появились свои смертники, которые готовы были идти в атаку голой грудью.

– Там, мой друг! Там всё решается! – проорал он мне в ухо, скорчив ещё более ехидную морду, потому что знал нечто такое, чего не знал я, но не считал нужным раскрывать карты; впрочем, я ему доверял. – Так что завтра чтобы был в Славянске, а послезавтра – передашь мне первый репортаж!

– А можно, прямо из вагона? – съязвил я, не уступая в кокетстве.

Будь у него в руках маркер с зелёной краской, он бы запустил бы мне его в лоб и долго бы при этом ржал. Зелёный цвет он почему-то любил больше всех других цветов, потому что наверняка, – не жёлтый и не синий, а на красный у него была отрыжка, не любил он коммунизм, коммунизм и Сталин ещё не утряслись у него в голове.

– Трепло! – живо среагировал Борис Сапожков, и мы побежали на бульвар Пушкина, пока вся эта масса народа не сообразит, что правильнее всего в такую жару – пить пиво.

Рев толпы ещё долго доносился со стороны площади, и душа моя рвалась туда. За потной кружкой Борис Сапожков мне объяснил, что у него есть свой человек в Славянске по фамилии Андрей Мамонтов, что он периодически звонит ему и рассказывает о событиях, но этого мало.

– Он боец, а не журналист, много стреляет, хватка отсутствует.

Я фыркнул:

– А что там?

– Там уже бои идут, сынок, – почему-то шепотом и оглядываясь по сторонам, сообщил Борис Сапожков.

– Да ладно! – не поверил я и невольно оглянулся: вокруг было мирно и солнечно, в сквере напротив играли дети.

В то время я ничего не знал о событиях на северо-западе. Однако уже осенью мой приятель Владимир Дынник, стал нервно дёргаться, когда его спрашивали об обстрелах железнодорожного вокзала, рядом с которым он жил: «Не попали! Не попали!» На железнодорожный вокзал снаряды залетали весьма регулярно, а рынок так вообще дважды горел, и осколки там гремели по крышам, что твой весенний град, и люди лежали на мостовой с разбитыми головами.

Борис Сапожков так посмотрел на меня, что я вынужден был уныло пообещать:

– Хорошо, хорошо, еду, еду!

– Только не тяни резину, – попросил он, опуская пререкания, ибо давно знал меня. – Найдёшь некого Стрелкова.

– А это кто?

Это было частью моей работы – задавать глупые вопросы, Борис Сапожков привык к ним, но всё равно покривился, словно увидел раздавленного таракана.

– Он там главный. Я тебе черкнул письмецо к нему.

– А он тебя знает?

Я раскусил его прежде, чем он открыл рот. Надо было очень хорошо знать Сапожкова, чтобы зря не трястись за тридевять земель и больше доверять своей интуиции.

– Не-а... – красочно ухмыльнулся Борис Сапожков, и глаза его ещё больше повеселели, потому что он был авантюристом и дело своё знал хорошо.

А ещё, он родился в тюрьме. Уж не знаю, за какие грехи родителей. И этот факт наложил на него свой отпечаток: Борис был белесым и неугомонным живчиком предпенсионного возраста, готовым ринуться в любую авантюру, а я был у него на побегушках и устраивал его во всех отношениях: во-первых, потому что по первому его требованию являлся пил с ним водку, как, впрочем, и другие алкогольные напитки, а во-вторых, потому что по определению не метил на его место, и он это ценил.

– Тогда какой смысл? – удивился я, всё ещё мысля категориями мирного времени и полагая, что до большой крови дело не дойдёт, кишка тонка у всех сторон без исключения; впрочем, мы это вопрос с Борисом Сапожковым не обсуждали, он подразумевался раскрытым сам собой.

– Чтобы тебе свои не расстреляли, – объяснил он так серьёзно, чтобы я проникнулся важностью момента: мол, кинули на съедение акулам.

Если бы я только представлял, с чем мне предстоит столкнуться.

– Ага! – понял наконец я подоплёку кривляний моего друга.

Да и то верно, у кого из нашей братии был опыт военных репортажей? Ну Чечня, ну Грузия; но двадцать три года под украинским протекторатом, отлучили нас от мест боевых действий, и мы походили на щенков, которые не нюхали пороха и со смертной завистью завидовали репортажам Сладкова и Речкалова.

Мой отец, бывший военный врач, не пережил девяностые, лёг в постель и отказался признавать реальность. Так и умер на третий месяц лежачей забастовки от воспаления лёгких.

Мать, которая всю жизнь посвятила себя борьбе за чистоту в квартире, пережила его на полгода.

Я пришёл домой и сказал шутливо ещё в дверях, не подозревая насколько прав:

– Привет, я еду воевать! – Чтобы они в конце концов поняли, что ездить абь куда, кроме меня, никому не положено, опасно.

По квартире были разбросаны дачные вещи. Среди них ходили радостные моя жена и дочка.

– Ну и катись! – среагировала Наташка, сдувая с влажного лба прядь волос. – А мы сезон открываем!

– Сезон?

После слов Бориса Сапожкова у меня включился центр тревоги.

– Мы на дачу едем, папа! – весёл подпрыгнула Варя.

– Собирайся, дочка! – заревновала её ко мне моя жена.

– Наташа, какая дача! Война! – попытался я её вразумить, хотя сам же в свои слова не верил, не слушала она меня, я перестал был для неё авторитетом.

Как все дачи, наша дача в том числе, находилась на окраине, на станции Абакумова, в районе шахты Скочинского. А это двадцать километров от центра, и что там происходило, одному богу известно. Вокруг поля и шахтные копры.

– Вот и воюй. А мы поедем! Правда, Варя?

И спорить было бесполезно. Мы находились в той стадии отчуждения, когда любая логика ставилась тебе же в вину, поэтому я отмолчался: пусть делает, что хочет. К тому времени я смертельно устал от её сцен и придилок, тем более, что не мог понять их природу. Не знаю уж, кто в детстве нашептал моей жене, что мужчины созданы, чтобы ими помыкать, должно быть, это происходило на генном уровне независимо от логики.

– Пап, давай с нами. Там хорошо! – воскликнула дочь.

Господи, как я её любил! Как я нянчил, крохотный, пищащий комочек. Вставал по ночам, чтобы укачать. И жена бурчала: «Все мужья, как мужья, а ты какой-то странный», вроде как она знала других мужей. Впрочем, в те годы мы были молоды, беспечны и счастливы, полагая, что перед нами вся жизнь; и родители были живы, и даже бабушки с дедушками приходили в гости. Если бы только всё это длилось вечность, но жизнь коротка, и мы сами делаем её ещё короче.

– Варя, ты думаешь не о том!

Они докатились с мамой до того, что уже шептались о Вариных женихах. Рано, ревновал я, рано.

– Почему, не о том? – удивилась дочь.

– Потому что на даче сейчас опасно!

Я вдруг некстати вспомнил, что когда Варя узнала, откуда берутся цыплята, то целый год не ела яиц, и никакие уговоры не помогали.

– Тогда поехали с нами!

– Я не могу... Я занят...

Каким я был дураком. Надо было взять лом, топор, вооружиться пистолетами, которых у меня, естественно, не было, всем, чем угодно, и ехать с ними, даже несмотря на то, что одна часть женской половины семьи меня безбожно презирала и я бы хлебнул порцию упреков и нареканий. Но я дал слабинку и сбежал в чёртов Славянск.

– Ну, папа...

– Не могу, дочка, не могу!

Она как две капли воды походила на мать, и всегда мне напоминала те прекрасные годы, когда мы, безвинно держались за руки и размахивая портфелями, шагали из школы домой. Это про нас в школе писали на заборах: «Мишка + Наташка = любовь!» Мне казалось, что так

будет вечно; однако, поженились мы только в институте. С тех пор утекло так много воды, что память стала терять чувственность, а на смену стал являться разум, который твердил в минуты раздражения: «Ты не спал с ней два года. Зачем она тебе?» «Из-за нашего сентиментального прошлого» – отвечал я. Я, действительно, не мог её бросить. Я привык к ней, к этой бесконечно нервной жизни и другую себе не представлял. Куда девается любовь, никто толком не знает. Эта тайна, которую открывает каждое последующее поколение.

– Он у нас занят! – съязвила Наташа Крылова. – Он кропает новый роман о новой пассивности!

Это была неправда. Я не изменял ей все эти два года и до этого – тоже. Я ещё на что-то надеялся, и её величество мужское долготерпение руководило мной все эти годы. Разумеется, женщины возникали на моём горизонте, но наши отношения, если их можно называть таковыми, не переходили платоническую черту. Проблема заключалась в том, что Наташа Крылова, независимо от самой себя, сделала мне такую инъекцию от любовных интрижек, что я обходил женщин десятой стороной, полагая, что все они, без исключения, похожи на мою жену. У меня не было иного опыта общения с женщинами, поэтому ни у кого из претенденток не было шансов улечься со мной в постель. Они меня пугали потенциальной склонностью к болтовне, пошлости и скандалам. Бог его знает, что у них на душе. Ещё одной женщины в своей жизни я не перенёс бы. Я уже знал, что женщины – это не панацея от одиночества. Такого лекарства вообще нет. Хорошо, что у меня была отдушина в виде литературы, в ней я сублимировал на все лады. Тем и спасался.

Ранним утром я трясся в электричке «Донецк-Изюм». А в девять с любопытством к новым реалиям сошёл на платформе в Славянске. Никто меня не встретил, хотя Борис Сапожков клятвенно уверял, что позвонит Андрею Мамонтову. Ну да мы не гордые, подумал я.

Перед вокзалом бродила пара патрулей. Вот и вся война. Зря Борис Сапожков тень на плетень навёл, решил я и двинул в центр, плохо представляя, где находится этот самый Стрелков, не расспрашивать же у прохожих, тогда меня точно заметут, и правильно сделают. Поэтому я шёл наобум туда, где улицы шире, а тротуар чище. Таким нехитрым макаром я попал в центр и за голубыми елями нашёл здание районной администрации.

Внутри меня, естественно, не пустили.

– Кто такой? К кому? – грубо спросил невысокий боец с широкими плечами качка.

– Журналист из Донецка к Стрелкову.

– К Стрелкову? – недоверчив переспросил боец, держа автомат так, как держит мать ребёнка.

– Руки на затылок, ноги на ширину плеч! – приказал второй, высокий, почти с меня ростом. – Выворачивай карманы! А то мы знаем, какие вы журналисты!

Я не стал возражать и поднял руки, но так, чтобы бойцы не думали, что я их боюсь. То, что повыше посмотрел на меня с ненавистью, и вдруг понял, что он уже успел наглядеться всякого и не всякого, и что убить ему человека, как плюнуть на асфальт.

Меня тщательно обыскали, ткнув на всякий случай под ребро стволом. Забрали «никон», письмо, редакционное удостоверение, паспорт и портмоне с деньгами. Бог с ними, подумал я, почему-то решим, что попаду домой уже не на электричке, и деньги мне не понадобятся.

Тот, что пониже и пошире, отнёс мои документы и фотоаппарат в здание. Второй, непонятно зачем, держал меня на мушке, хотя вокруг бродили ещё человек десять с оружием. Так что даже чисто теоретически я сбежать не мог, разве что в виде живой мишени.

Они продержали меня в таком положении около часа. Вернувшийся боец ничего не сказал и, вообще, сделал вид, что не имеет ко мне никакого отношения. В здание входили и выходили люди, и всем им, как я понял, был нужен Стрелков. Некоторые из них принимали меня за шпиона. По крайней мере, один подошёл, посмотрел на меня и сказал:

– Здоровый, джеймс бонд! Вы следите за ним здесь!

– Отойди! – посоветовал ему боец, косясь на него, как кот на мышь.

Наконец позвонили, и меня повели все те же двое, тыча стволом в спину.

– Потише! – поежился я.

– Иди! Иди! – Но тыкать больше на всякий случай больше не стали.

Мы прошли через фойе с разбитым аквариумом в центре, поднялись на второй этаж и свернули направо. Кабинет Стрелкова находился с тыльной стороны и глядел окнами во двор. Грамотно, подумал я, в случае обстрела, не так опасно.

Я увидел перед собой крайне занятого и нервного человека. Видно, он уже познакомился с моими документами, потому что сказал бойцам:

– Свободны! – а потом обратился ко мне: – Аккредитация есть?

Я замялся:

– Нет...

– Ну а чего вы тогда?! – упрекнул он, хватая то карандаш, то папку.

Я решил, что меня, как минимум, арестуют, а как максимум, расстреляют. Трудно было понять, какие здесь порядки.

– Ефрем! – крикнул Стрелков в приоткрытую дверь. – Юз! – Безрезультатно. – Ю-ю-ю-з-з!!!

Слышали голоса бойцы на первом этаже. Вместо Юза в дверь сунул физиономию один из моих стражей.

– Ефрема найди! – приказал Стрелков.

Наконец раздались торопливые шаги и в комнату вбежал Набатников. У меня глаза полезли на лоб. Я не знал, что он здесь, и вообще, потерял его из вида с начала весны.

– Наконец-то! – сказал Стрелков, не поднимая головы и внимательно изучая пятна на столе. – Где тебя носят?

– Игорь Иванович, я занимался пострадавшими... из Былбасовки.

– Ах, ну да, – выпрямился Стрелков. – Разобрался?

– Так точно. Всех отправил в тыл, кого надо, по больницам.

– Сегодня бандеровцы автобус с местными жителями обстреляли, – пояснил Стрелков, по-прежнему не глядя мне в глаза.

– Мне доложили, что юго-востоке сбили Ми-8, – сказал Ефрем Набатников.

Я потом узнал, что это он самолично сбил вертолёт, только не хотел выпячиваться.

– Вот это хорошо! – оживился Стрелков. – Молодец! Вот человек из Донецка. Сделай ему аккредитацию.

Фраза «сделать аккредитацию» прозвучали просто-таки зловеще. Пытать будут, решил я.

– А чего ему делать, – пожал плечами Ефрем Набатников, глядя на меня безразличными глазами, – я его знаю.

– Тем более, – обрадовался Стрелков. – Забирай и поработай.

Я понял, что меня просто спихивают с рук и что Стрелкову сказать мне нечего за отсутствием ясности в оперативной обстановке, а, может, это было тайной и я рано явился, а Борис Сапожков, как всегда, поспешил. В общем, тысяча причин помешали мне пообщаться с Игорем Ивановичем и составить о нём ясное представление.

– Есть! – лихо ответил Ефрем Набатников и скомандовал мне: – Пошли!

Я вежливо сказал: «До свидания», оглянувшись на Стрелкова и двинулся следом.

– Стойте! – окликнул меня Стрелков. Я замер, покрывшись мурашками. – Документы и аппаратуру заберите, – и пододвинул их мне.

Стрелков посмотрел на меня, я посмотрел на него, и я мы друг друга понял. Я подумал, что не надо делать людей умнее того, чем пророчат обстоятельства, он просто делал своё дело, не заглядывая шибко вперёд.

Это потом его все хаяли, а вначале всё было хорошо, вначале вообще никто ничего не понимал: ну повстанцы, ну добровольцы. А кто их разбудил и организовал? Начинать всегда

трудно. Для этого нужен особый тип людей. Вот они и появились: Лето и Шурей, девушки-снайперы. А над всеми стоял – Стрелков.

– Всего доброго, – с облегчением сказал я, забирая свои вещи.

Он не ответил. Письмо Бориса Сапожкова так и стало лежать в конверте. Видно, пресса Стрелков интересовала в последнюю очередь. Не до этого было – вдалеке всё настойчивей бухало и гремело.

– Здорово! – Ефрем Набатников, который шёл впереди, развернулся и обнял меня за стенами кабинета. – Приятно увидеть своего человека.

Я начал что-то припоминать. Кажется, сразу после того, как установилась первая весенняя погода, Ефрем Набатников позвонил мне прямо из электрички и сообщил, что едет в Славянск. «Воевать?» – спросил я тогда. Но он, похоже, и сам не знал, зачем. Должно быть, с тех пор он и числился на бандеровском сайте «миротворец» в «списках боевиков и наёмников в Донецкой области».

– А Юз кто такой? – спросил я, следуя за ним по гулкому коридору.

– Это мой позывной. Я теперь заместитель Стрелкова. Везёт мне! – он полез за пазуху, вытащил свой талисман – золотой жетон со своими же инициалами Е.Н. и благоговейно поцеловал её.

Он всегда и везде демонстрировал свой талисман, напуская на себя таинственный вид, особенно, когда был пьян, и уверял, что если бы не этот жетон, он бы сейчас с вами или со мной, или ещё с кем-нибудь водку уже не пил бы. «Почему?» – по наивности спрашивали многие. «Потому!» – важно отвечал он, и его можно было объехать разве что только на кривой кобыле, а я понимал, почему: потому что Россия. И кто ближе к ней встанет, тот и главный. Вот какие были поначалу дела. Это потом уже армия появилась, вначале было именно так, кто врос прочнее корнями, тот и главный.

– По каким части? – уточнил я, надеясь, что с тех пор он изменился.

– По всякой! – многозначительно ухмыльнулся Ефрем Набатников.

Я уже знал эту его ухмылку, которая означала, что Ефрем Набатников добился того, чего желал, а честолюбия у него было не занимать, только вот Стрелков не знал об этом, как, впрочем, и о талисмане тоже, иначе бы заставил выкинуть, как демаскирующий элемент. Но Ефрем Набатников его не выкинул бы даже по приказу, к сожалению, он приберёт его для меня.

– Так это про тебя всякое говорили? – вспомнил я разговоры в редакции, не знаю, правда это или нет, о каком-то беспшабашном заместителе Стрелкова, который мотался по фронтам, ходил в разведку, брал языков, и даже, как бывший ракетчик, умудрился сбить два вертолета и один самолёт. – А я думаю, что за Юз, – похвалил я его, – заместитель министра обороны? А это ты, оказывается!

– Так вышло... – простецки опустил глаза Ефрем Набатников, и выдохнув воздух через усы, как морж. Они у него были настоящие, русские, мужицкие, подстриженные вдоль рта, а не опущенные вниз, как у гуцулов, а – щёткой. – Я не ожидал, – рассказал он коротко, – как все, дежурил на блокпостах, а потом Стрелков, видно, заметил... – дальше он вообще, перешёл на невнятные шёпот и хотел казаться скромным и незаметным, но я-то знал, что он претенциозен и далеко пойдёт, если повезёт или если вовремя не остановят. Но мне это даже импонировало.

Ефрем Набатников два раза становился миллионером и два раза разорялся только из-за женщин. Первая его жена разбила битой стекло на его любимом джипе, а самого отправила в больницу, отдубасив спящего сковородой. После реанимации он выбил ей передний зуб, разрезал три её соболиные шубы на тоненькие лоскутки, продал аптечный бизнес в Москве, чтобы ни с кем не делиться, и сбежал в Донецк, где до самого начала войны развозил колбасу на «шестисотом», а потом вдруг разбогател. Он был настолько везучий, что однажды выиграл в

лотерею два раза за день. Я думаю, что если покопаться в его грязном бельё, то кое-что можно было найти эдакое, но не стал этим заниматься из принципа – плевать. Герой, он и есть герой.

– Ну и хорошо, – приободрил я его, чтобы он больше не оправдывался. – А чего он так? – на правах старого знакомого спросил я.

Ефрем Набатников оживился.

– А сам как думаешь? – Таким незатейливым способом прикрыв спину шефа.

– Понятия не имею, – ответил я безразличным голосом, потому что только начал догадываться о том, что здесь, действительно, происходит.

– Помощи ждём... – сказал Ефрем Набатников, как человек, который мало врёт, и который страшно хочет, чтобы ему поверили.

– А-а-а... – среагировал я, сопоставляя услышанное и увиденное, и злых людей во дворе администрации, и нервничающего Стрелкова. – Наши придут?

Я-то думал, что у них всё на мази: и регулярные части, и танки, и всё такое прочее, вплоть до авиации, об этом, естественно, писать нельзя, а у них ничего, хоть шаром покати. Прав Борис Сапожков, прав. Здесь только всё начинается и держится на добровольцах, на тех, кто, такой злой и нервный, охраняет Стрелкова.

– Придут, – твердо сказал Ефрем Набатников. – Иначе...

Я понял, что это заклятие. И то правда, совсем по-другому прислушался я к зловеющим раскатам грома, должны прийти, иначе всё теряет всякий смысл, даже моя поездка. И я понял, почему Стрелков нервничал.

– Иначе дело дрянь, – досказал за него я.

– Об этом никто не говорит вслух, – оглянулся по сторонам Ефрем Набатников, словно нас подслушивали.

Несомненно, он доверял мне, потому что знал давно и потому что водки мы с ним выпили немерено.

– Хорошо, – пообещал я, – опишу только положительные моменты.

Второй раз он поднялся на торговле игрушками, но и разорился, я полагаю, тоже из-за женщины.

– Я бы сказал, – поморщился Ефрем Набатников, – да, материал надо придержать.

– Можно и так, – согласился я, подумав, что Борис Сапожков меня не поймёт, зато укрофашисты обрадуются.

А ещё я подумал, что по-видимому люди здесь из-за новизны ситуации сами ещё не понимают, что можно, а что нельзя и что, в принципе, потом может оказаться для них компроматом.

– Обо мне можешь писать, – скромно сказал Ефрем Набатников. – Я не боюсь, а у других надо спрашивать разрешение.

– Ладно, – кивнул я, изображая слоновью покорность.

Мы вышли из здания районной администрации. Перед выдавшем виды «фольксвагене», опираясь на пулемёт, в позе Геракла стоял человек, страшно похожий на молодого лысого Дженсона из «Ментовских войн», и не было монументальней физиономии на всём западном фронте. Я едва запанибратски не полез обниматься, но вовремя осёкся, сообразив, что это не тот Джексон, а страшно на него похожий человек. А может, это и есть Джексон? – ужаснулся я. Уже и актёры сюда подались за ощущениями. А ведь он убивал, догадался я, глядя на его жёсткое лицо, голыми руками и не очень честно. Как будто само убийство может быть честным. Но тем не менее, человек производил впечатление бывалого и опытного. А ещё он был обвешан оружием, как елочная игрушка: пулемёт, автомат, рожки – на животе, гранаты в нагрудных карманах, огромный штык слева, так, где сердце. Я решил его сфотографировать, но в последний момент передумал, усомнившись в его положительной реакции.

– Познакомься, – сказал Ефрем Набатников, – это Радий Каранда, позывной Чапай.

– Очень приятно, – я пожал протянутую руку.

Радий Каранда почти незаметно поморщился, он не ожидал от меня сугубо гражданского поведения и тем самым возвёл между нами непреодолимую стену презрения ко всему гражданскому, которому не место на войне. Это потом он признал за мной право на индивидуальность, а вначале – относился свысока.

– Мой знакомый журналист из Донецка, – пояснил Ефрем Набатников.

Рука у Радия Каранды оказалась жёсткой, как подмётка. Ого, подумал я, спец. Обычно такое рукопожатие бывает у альпинистов, потому что им нужно крепко держаться за верёвку, но, оказывается, и у спецназовцев, потому что им нужно быстро отрывать врагам головы.

– Тебе тоже нужен позывной, – сказал Ефрем Набатников, усаживаясь в машину.

Разумеется, он всё понял, но не собирался смягчить ситуацию, говоря тем самым: «Ты хотел попасть на фронт? Ты попал. Пеняй на себя!»

– Я же временно, – сказал я, – размещаясь я комфортом на заднем сидении.

Радий Каранда сел рядом с Ефремом Набатниковым, повернулся ко мне и попросил жёстким говорком:

– Братишка, положи пулемёт.

Я взял тяжёлый пулемёт с зелёным магазином и пристроил рядом. Приклад упёрся мне в колено.

– А потом тебя по имени и фамилии начнут вычислять, – назидательно сказал Ефрем Набатников.

– Ну и что? – не понял я.

– Смотри сам.

– Ладно, я подумаю, – согласился я. – Может, Росс?..

– А почему, Росс? – удивлённо сунулся ко мне Ефрем Набатников.

– Ну, Россия, – объяснил я нехотя, боясь показаться сентиментальным.

– Россия у нас нет? – спросил Ефрем Набатников у Радия Каранды.

– Нет, кажется... – согласился, Радий Каранда, вставляя ключ зажигания.

Наверное, Радий Каранда догадывался, что похож на артиста Дмитрия Быковского, и копировал его, а может, даже был его двойником, кто знает.

– Ладно, – разрешил Ефрем Набатников. – Будешь Россом! – Поехали! – скомандовал он.

И мы понеслись по узким улочкам Славянска, причём, почему-то исключительно по «встречке» да ещё и с односторонним движением. При этом Радий Каранда во всю сигналил, ручался чёрным матом и ржал, как конь, когда ему удавалось кого-то до икоты напугать.

Как я понял из их разговоров, мы направлялись на какой-то блокпост, чтобы забрать тяжёлый пулемёт, отбитый накануне у укрофашистов, и перебросить его на более опасный участок, где он был нужнее.

Раскаты грома становились то громче, то тише. Я косился в окон, за которым мелькали бесконечные лесонасаждения и поля.

– С Карачуна бьют, – сказал Ефрем Набатников, посмотрев направо.

Я тоже посмотрел, будто что-то понимал в диспозиции невидимых войск, но за мелькавшими деревьями, ничего не увидел, хотя бухало прилично, земля вздрагивала, как живая. Потом я к этому привык. За два года ко многому привыкаешь, кроме смерти и предательства.

– Ничего, наша «Нона» не сегодня-завтра их накроет, – уверенно сказал Радий Каранда, крутя баранку, как заправский гонщик.

Его тщательно выбритый череп сверкал, словно бильярдный шар.

– Ну да! – согласился с ним Ефрем Набатников.

И я почему-то им поверил, хотя понятия не имел, что такое «Карачун» и «Нона». К вечеру я уже знал, что «Карачун» – это гора в окрестностях Славянска, которую захватили укрофашисты, установив на ней крупнокалиберную батарею; а «Нона» – единственное артиллерийское самоходное стодвадцатимиллиметровое орудие повстанцев, которое вело контрба-

тарейную борьбу по всему фронту и поэтому было на вес золота, и на неё охотились все силы укрофашистов и не раз объявляли уничтоженной, но она, как Феникс, оживала и давала прикурить фашистам в очередной раз.

Проехали Семёновку с разбитые кое-где домами, стали пускаться в очень пологую долину, где раскинулась Черевковка, с белой колокольней на склоне.

– Ну где же они? – удивился Ефрем Набатников, крутя головой, когда мы проехали, как я понял, блокпост с поникшим российским флагом, речку, и медленно, словно нехотя, стали подниматься на противоположный склон долины.

Радий Каранда молчал и, зная себе, вцепился в руль. Ефрем Набатников насвистывал брагурный марш, кажется, «Марсельезу». Что касается меня, то я полностью положился на их опытность и везучесть Ефрема Набатникова. Кто здесь воюет, я или они?

– Где они? – снова крутил стриженной головой Ефрем Набатников. – А вот! – и радостно показал на железобетонные блоки на склоне холма.

Мы подкатили бодро, под завывания простуженного мотора. Из-за блокпоста вышел боец, хотя бойцом его трудно было назвать, был он невысоким, вид имел чаморошный. Каска валялась в траве. Даже оружия при бойце не было.

– Где пулемёт? – спросил Ефрем Набатников, высовываясь в окно.

– Какой пулемёт, дядько?

– Чего?.. – крайне удивился Ефрем Набатников и в раздражении полез из машины.

Видно, его ещё никто так не называл. Сейчас он ему врежет, понял, и мне стало жалко повстанца.

– Субординацию не соблюдает, – удивился Радий Каранда.

– Ты что, белены объелся? – высунулся в окно Ефрем Набатников. – Ты как со старшим по званию разговариваешь?

Я вылез тоже, мне было интересно, как он с ним поступит, хотя погон на Ефреме Набатникове не было и в помине, но, похоже, его все окрест знали.

– Я, дяденька, ничего не бачил, – ответил чаморошный боец, – и никакого пулемета здесь не мае. Я окоп копаю, – сказал он на «о».

– Что?! – выпучил глаза Ефрем Набатников.

И тут я разглядел, что боец держит за спиной гранату РГД-5 с выдернутым кольцом. Держит давно, и видно, держать уже устал. Я хотел сказать об этом Ефрему Набатникову, но не успел. Боец просто швырнул мне её под ноги, как самому здоровому и потом самому страшному, и в следующее мгновение я очутился сидящим на земле, а в руке у Ефрема Набатникова беззвучно дёргался пистолет, и горячие гильзы сыпались мне на голову. Это продолжалось достаточно долго, чтобы я успел перевести взгляд на бойца, а когда перевёл, то обнаружил его корчившимся в луже крови. Это меня очень удивило, хотя я по-прежнему ничего не слышал, словно меня окутала ватная тишина.

Ефрем Набатников подлетел ко мне, как-то странно посмотрел, пошлёпал по щекам, и по его губам я понял, что он спрашивает, живой я или нет.

– Живой... живой... – сказал я, пытаясь подняться, меня повело в сторону.

Ефрем Набатников стал мне помогать подняться, но вдруг завертел головой и снова куда-то пропал. Пришлось мне выкарабкиваться самостоятельно. Меня качало, словно пьяного, и даже вырвало желчью, потому что я с раннего утра ничего не ел.

И вдруг сквозь ватную тишину я начал различать звуки стрельбы. Оказалось, что я её давно слышу, но не обращаю внимание. Стрелял Радий Каранда из того самого пулемёта, который возил на заднем сидении. Он стоял, широко расставив ноги и целился куда-то в вершину холма. Я оглянулся, но никого и ничего не увидел, кроме кукурузы.

Наконец мне удалось подняться. Земля под ногами сделала пол-оборота и остановилась.

– Ложись, блин! – крикнул Ефрем Набатников.

Он стрелял из автомата, прикрываясь железобетонным блоком. Вместо того, чтобы последовать совету, я принялся их снимать. Меня обуяла мысль зафиксировать настоящий бой. Я сфотографировал своим «ником» мужественное и решительное лицо Ефрема Набатникова в то момент, когда он менял магазин, даже его золотой жетон на цепочке с инициалами Е. Н.; я отщелкал целую серию, затем принялся за Радия Каранду, его жилистые руки и монументальное лицо с большим носом хорошо ложились в кадр.

– Да падай ты в конце концов! – снова закричал Ефрем Набатников.

И тут до меня дошло, что по нам тоже стреляют. Мне даже послышался свист пуль; а стреляли как раз по обе стороны дороги, из кукурузного поля.

Вдруг на гребень холма, словно нехотя, вылез БТР и дёрнул свои хоботом. Дело стало принимать плохой оборот. Наша машина, которая, как я понял, не хотела отныне заводиться, вспыхнула, как стог сена, от неё нехотя пошёл чёрный дым.

– Отходим! – скомандовал Радий Каранда.

В его устах это прозвучало, как: «Бежим!» И мы побежали, по этому самому кукурузному полю, путаясь в молодых побегах, и сразу стали заметны для противника, который развернулся цепью и побежал следом, прикрываемый огнём из БТРа.

Я понял, что мы не добежим даже до Черевковки, перестреляют, как куропаток. Наверное, так бы мы и легли на этом склоне, но из белой колокольни на противоположном склоне долины ударил тот самый тяжёлый пулемёт, за которым мы приехали, и БТР захлебнулся на высокой ноте, а стрельба из автоматов сразу стихла.

Хочоча и зубоскаля, словно подростки, мы добежали до реки, где и столкнулись с нашими, которые, оказывается, нашли тяжелому пулемёту применение.

– Ладно, – сказал Ефрем Набатников, – оставляйте себе, тем более, что всё равно нам его везти не на чем. – И посмотрел на меня: – А тебе, мужик, страшно повезло, иногда РГД-5 взрываются так, что только оглушают. Ты счастливчик, мужик, ты счастливчик!

Потом эта пробежка по кукурузному склону иногда снилась мне: я бегу, бегу, но никуда не добегаю, а меня нагоняют и нагоняют; и тут я просыпаюсь от собственного крика.

* * *

В одиннадцать часов утра следующего дня Жанна Брынская затормозила на Пресненской набережной и сказала, озабоченно выглядывая в окно:

– Миша, вот здесь, кажется... Я у Аллы только один раз была...

Я тоже задрал голову и тоже прижался к стеклу, но так и не увидел, где кончается зеленая стена, уходящая в небо. Где-то там, высоко-высоко, в белесом небе, плыли зимние облака и, должно быть, летали птицы.

– А ты не ошиблась? – я посмотрел на неё, словно домашняя собака, которую выпихивают на улицу – в большой, страшный мир.

Она равнодушно пожала плечами. Веснушки на её лбу в размышлении собрались в жёлтое облачко, и я вспомнил, что лет двадцать назад на каких-то танцульках Валик выиграл приз, познакомившись с ней. Подробности я забыл, они были связаны с его первым неудачным браком и преждевременными родами, теперь его взрослый сын где-то шляется по свету.

– Да нет вроде, – пошла она на попятную, и я понял, что Валику повезло, ибо его Жанна выказывала все признаки зрелой натуры: не злилась, не юлила, а говорила то, что чувствует. – Сейчас я позвоню!

– Не надо, – остановил я её. – Не надо. Дальше я сам.

Башню я приметил ещё когда мы ехали по Третьему транспортному кольцу, рядом с ней – такая же, а за ними – ещё одна, выше, монументальнее и кручнее. И вообще, весь этот район был словно заставлен огромными шахматными фигурами. Если бы я знал, что мы направля-

емя именно сюда, я бы выпрыгнул на ходу, теперь же отступать было поздно: как я буду выглядеть в глазах моих друзей?

– Иди, иди, она тебя ждёт, – Жанна Брынская наконец сообразила, что я просто морочу ей голову.

Точно сбагрить собрались, огорчился я и спросил, испытывая её терпение:

– С чего ты решила?

– Я знаю, – сделала круглые глаза Жанна Брынская и тяжело вздохнула.

Валентину Репину остаётся только позавидовать, подумал я, потому что его жена имела колоссальную выдержку.

– Точно? – я решил проверить ещё раз.

Зачем мне это всё? – подумал я, памятуя об осколке в лёгком, не сегодня-завтра очуюсь. Смысла нет. Но какой-то чёртик заставлял меня жить и двигаться дальше.

– Зуб даю! – наконец зашипела она тихо, как змея: – Выметайся, быстро! Быстро! Это она, башня «А», не бойся! – И как мне показалось, когда я вышел, тайком перекрестила мне спину.

Знает она, подумал я, неловко вылезая из машины со своей аптечной палкой и, преодолевая робость перед всем этим стеклянным великолепием, вошёл в фойе; в бюро пропусков для были заготовлены пластиковая карточка и улыбка администратора на мою полевую форму; я миновал турникет, вошёл в лифт, поднялся на двадцать пятый этаж и приблизился к ещё одному администратору – премиленькой девушке с белой прядью на глазах, и даже рта не успел открыть – оказывается, меня и здесь тоже ждали, и судя по реакции, подробно, в деталях, описали, палку – абсолютно точно. Пока девушка с белой прядью названивала: «Алла Сергеевна!..», я оглянулся, заметил «Аптечный рай», эмблему с чашей и змеей, скрытые светильники, дающие рассеянный свет, и видеокамеры, разглядывающие меня в упор; мысль о том, что я попал сюда случайно, казалось мне вполне естественной. Я всё ещё ожидал, что появится человек с властно-насмешливым лицом и объяснит мне, дураку, что это обман, шутка, розыгрыш, ничего не поделаешь, так бывает в московской жизни; и я со спокойной душой смоюсь отсюда подальше и даже не обижусь, а главное, останусь самим собой и не буду играть чужую роль и занимать чужое место. Однако вместо этого появилась великолепная Алла Потёмкина, вариант моей жены, только с голубыми глазами, которые в сумраке фойе казались тёмно-синими, и, тряхнув головой, как сноровистая лошадка, игриво сказала девушке с белой прядью:

– Олечка, я его забираю!

– Да, Алла Сергеевна! – обрадовалась до ушей девушка с белой прядью.

Как какво же было моё удивление, стоило Алле Потёмкиной отвернуться, как восторг на лице девушки с белой прядью сменился глухой злобой. Я отметил галочкой: не все так просто в датском королевстве и хотел расспросить об этом саму Аллу Потёмкину, но она моментально расположила меня к себе: было у неё такое свойство характера делать встречное движение души. Со времени последней нашей встречи она подстриглась, и ежик чрезвычайно шёл к её правильным чертам лица и голодным скул. Губы она красила ярко, но не вызывающе, а на макияж потратила часа три, не меньше (уж я-то разобрался), и я был несколько взволнован, потому что выглядела она так, как выглядела моя Наташа Крылова, когда хотела выйти за меня замуж, то есть с теми же самым блестящими, чрезвычайно любопытными глазами и с обезоруживающей улыбкой, только лет на пятнадцать старше. Сердце мое трепыхнулось пару раз, но благополучно вернулось на своё законное место и больше не шалило.

– Михаил Юрьевич, я рада, что вы пришли! – произнесла Алла Потёмкина официальным тоном, даже не взглянув на девушки-администратора. – Пойдёмте! – крепко ухватила меня под руку, мимолётно прижалась плечом, я чувствовал каждый её изящный палец, и повела по бесшумному коридору в пастельных тонах, и я несколько мгновений наблюдал, как мелькают её ноги в строгих, чёрных туфлях и укороченных брюках с пуговицей на тонкой лодыжке. –

Жанна звонила и сказала, что вы приехали, – она заглянула мне в лицо, проверяя реакцию, и бедное мой сердце снова сладко трепыхнулось, хотя я ещё помнил Нику Кострову, её стройную фигуру и царственный поворот головы. – Мы сейчас подпишем кое-какие бумаги, а потом... А вот и твой кабинет, – оставила она тайну на высокой ноте и ввела меня в апартаменты.

В приёмной за столом тоже сидела премиленькая девушка, но которая, в отличие от девушки-администратора, причёску имела типа осиногo гнезда, волосы русые, а глаза – огромные, словно вишни, взволнованные, пожирающие начальство; к том уже она ещё и вскочила при виде Аллы Потёмкиной. Они здесь все такие, оценил я, держатся за работу руками и зубами.

– Это Вера Кокоткина, ваша секретарь. Будете с ней работать. Вера, познакомься, это Михаил Юрьевич, наш новый директор по рекламе и маркетингу. Это ваш кабинет, Михаил Юрьевич! Табличку мы уже поменяли. (Я не спросил, кто сидел в кабинете до меня и что с ним стало, а со стыдом прочитал свою фамилию Басаргин М. Ю. и должность: директор там чего-то). Напротив, выше по коридору – кабинет вашего заместителя, Леры Алексеевны Плаксиной. Я вас сегодня познакомлю. Сейчас мы пойдём ко мне и подпишем бумаги, чтобы официально оформить наши отношения. – Она насмешливо повела бровью, мол, удивила я тебя? Я проявил сдержанность, хотя моё воображение так и несло галопом, опережая события, но даже оно ошиблось в своих фантазиях.

Мы прошли в её кабинет, который оказался в конце коридора и огромными окнами смотрел на Москву-реку. Зимнее солнце в лёгкой дымке висело над городом.

– Не много? – удивился я, увидев сумму моей зарплаты в договоре.

Стол в её кабинете напоминал огромный заливной каток. В вазе живые стояли цветы. Кондиционер выдавал точную порцию свежего воздуха.

– Не много, – заверила меня Алла Потёмкина, выглядывая из гардеробной. – Привыкая! Отныне у тебя машина и личный шофёр!

– Спасибо, – ответил я, – и так обойдусь.

– У нас не положено! – отрезала она, появляясь в сапогах и верхней одежде под русский стиль: много-много меха и огромная шапка с бордовыми узорами. – У нас филиалы по всех окрестностям и в соседних областях. Так что тебе, дорогой, придётся поколесить.

– Ничего, я привык, – сказал я, имея ввиду все те дороги, которые увидел за два года войны.

– Отлично! – среагировала она тряхнув головой, как сноровистая лошадка. – На Кутузовской проспекте отныне у тебя пятикомнатная квартира.

Я удивился ещё больше и даже, наверное, забыл закрыть рот:

– И двух хватило бы, – пробормотал я в смущении. – В крайнем случае, у Репиных угол сниму.

– Вот что нравится в тебе, – сказала она по-свойски, – так это твоя провинциальность, – она серебристо рассмеялась, прищутив свои прекрасные голубые глаза, изучая меня, как под микроскопом. – Все твои мысли написаны на твоём лице. Другой ухватился бы и радовался, прикидывая, как он устроился в жизни. А ты?.. – Впрочем, в её голосе чувствовалась гордость за правильно сделанный выбор и женскую прозорливость. – Ну да оботрёшься, – сыронизировала она с тем изыском, который свойственен, я думал, московским бизнес-леди, – твой предшественник проворовался и находится под судом, и если ты станешь даже не таким, как он, а просто, как все, я потеряю к тебе всякий интерес, – добавила она со значением, которое показалось мне смешным, ведь я никогда не бегал ни за должностями, ни за выгодой, но она, разумеется, об этом знать не могла. Об этом не знали даже Репины, они просто считали меня неудачником, но неудачником из своего прошлого, значит, любимым неудачником, которого надо побыстрее устроить на приличную работу и перестать его задарма кормить.

Должно быть, Алла Потёмкина уже хлебнула от яда предательства, подумал я, раз дует на воду. Я не стал обещать, что не подведу её, а просто спросил:

– Почему?

– А потому что такого добра полно и в Москве. Так что учти, я на тебя ставку сделала.

Я не знал, что ответить, приуныв, полагая, что быстренько разделаюсь с делами и вернусь в Королёво, чтобы заняться куда более прозаичным делом: ноутбуком и романом. У меня по сюжету героиня получает травму и попадает к хирургу.

– Так что же ты от меня хочешь? – спросил я.

– Сейчас увидишь! – и, торжествуя поглядывая на меня, позвонила.

Пришла женщина, которая оказалась кассиром, и выдала мне деньги, которые я ещё не заработал, и банковскую карточку, которую я ещё не заслужил. Глупо было отказываться. Я расписался, полагая, что попал в рай, и даже не сумел распахнуть деньги по карманам.

– Зачем? – спросил я, когда кассир ушла.

Видок у меня был, наверное, ещё тот, потому что Алла Потёмкина улыбнулась и посмотрела в окно, давая мне возможность опомниться.

– Ничего, просто привыкай! – безапелляционно сказала она, оборачиваясь ко мне. – Всё не бери. Здесь много. У тебя в кабинете личный сейф. А насчёт зарплаты, я считаю, ещё и мало, надо ещё нули приписать. – Она взяла ручку и действительно, приписала нолик и расписалась рядом. – Вот ключи! – кинул она; я поймал их на лету. – Просто большие квартиры у нас в этом районе все заняты. Поживёшь пока в этой, а потом что-нибудь подыщем. – А теперь едем по магазинам!

– По каким магазинам? – вовсе пал я духом: жизнь моя кардинально менялась; едва ли я был к этому готов; на сегодня я уже был впечатлен по уши и слегла опьянел от удовольствия.

– Я понимаю, что военная форма красит мужчину, – она с улыбкой показала на меня сверху до низу, то есть до моих изношенных, окопных берец. – Будь моя воля, я бы оставила тебя в ней, чтобы наши дармоеды боялись, но думаю, меня не поймут; у нас фирма, и надо соответствовать. Поехали! Вот тебе ещё кредитка за счёт этой самой фирмы, которую ты так боишься!

Она прошлась по лезвию: если бы я уловил в её голосе хотя бы признак фальши, хотя бы нотку превосходства, ноги бы мои больше здесь не было. Но она сыграла безупречно. И все мои дальнейшие уловки поймать её на двуличии ни к чему не приводили. Она оказалась такой же естественной, как и моя Наташа Крылова. А может быть, – хитрой, я не знал. Мне предстояла ещё разгадать эту тайну. По крайней мере, хитрость была не её коньком, и если она ею пользовалась, то крайне редко и не в отношении меня.

Мы вышли из зелёной башни «А», сели в серебристый «бьюик» и объехали полцентра, перед каждым вторым магазином мужской одежды останавливались, глядели на витрину, и Алла Потёмкина говорила, встряхивая головой, как сноровистая лошадка:

– Нет-т... не то. Поехали дальше.

Хорошо вышколенный шофёр легко трогал с места тяжелую машину. Мне показалось, что Алле Потёмкиной просто нравилось покачиваться со мной на мягком заднем сидении и как бы невзначай доверительно касаться меня и что-то мило рассказывать.

Зачем она меня покупает? – думал я. Для секса? Исключено. Вон сколько здоровых мужиков, только свистни. Нет, здесь что-то другое. А что именно? – ломал я голову.

Алла Потёмкина молчала и только периодически насмешливо поглядывала на меня, радуясь, как я понимал, моей наивности. И её серые глаза каждый раз заставляли моё бедное сердце подпрыгивать, как на ухабе, когда подвеска разбивается в щепки и тормоза никуда не годятся.

Наконец, проплутав больше трёх часов и вволю насладившись пробками и моим страхами, Алла Потёмкина сказала в районе Лубянки:

– Здесь! Виктор Петрович, остановите! – Она обезоруживающе поведала мне. – Люблю итальянскую моду!

Права выбора я был лишён в априори; и мы вышли, чтобы попасть в потребительский рай из моря стекла, мрамора и приглушённой музыки. Алла Потёмкина завела меня в мужской отдел на третьем этаже и сказала, отдавая на растерзание молоденьким продавщицам:

– Девочки, помогите моему герою выбрать всё что он закажет, а я – в соседний, – и указала острым ноготком напротив, где виднелись аксессуары чего-то там такого.

В одном соседнем продавалась косметика, в другом – женское бельё. Я тайком отследил, куда она наострила лыжи – разумеется, во второй, витрины которого пестрели от ажурных прелестей. И чего греха таить, это женское бельё крепко засело у меня в голове, на Алле Потёмкиной оно смотрелось беспронизуемо. Ну да все эти эротические фантазии я по привычке тут же выбросил из головы.

Я выбрал тёмно-серый костюм с отливом, на двух пуговицах, и пару чёрных рубашек, к которым подобрал серебристых галстук. На этом мой воображение иссякло. Я просто не представлял, как должен выглядеть директор по маркетингу и рекламе фирмы, у которой, более тридцати пяти сотен аптек и ларьков с годовым оборотом около тридцати миллиардов рублей.

Одна из трёх девушек, с копной русых волос и с фигурой «рюмочка», на карточке которой значилось имя «Инна», приободрила: «У вас потрясающая фигура», чем вошла в принципиальное противоречие с моей женой, которая утверждала, что я неуклюжий дылда. «Она вас обманула», – казалось, заверила меня Инна, глядя на меня такими же глазами, как и продавщица из супермаркета Татьяна Мукосей, словно я задолжал ей сто миллионов рублей и отдавать из принципа не хочу.

У Инны были изумрудные глаза. Я удивился: бывают же такие, как в рекламе или как мультиках. А ещё на правой кисти у неё жила ящерица, положившая морду на изгиб большого пальца. Когда Инна сгибала кулачок, ящерица казалась живой и смотрела оттуда правым глазом, потому что левый всё время умывался язычком.

Инна с энтузиазмом натаскала мне кучу тряпья, которую я не перемерил бы и за год. Пришлось мучиться и любоваться собственным отражением в зеркале, а Инна деликатно заглядывала в щёлочку и спрашивала:

– Ну как вам?..

Признаться, я не без задней мысли, особенно после замечания о «потрясающей фигуре», выпячивал грудь и выходил на арену. Мне нравились женщины с пышными волосами и юными лицами, они внушали мнимую надежду на благополучный исход под названием жизнь. Наверное, я сильно постарел душой на этой проклятой войне, потому что глядел на прелести девушки абсолютно трезвым взглядом и гадал, что она выкинет в следующий момент и на что она способна в постели.

– Ай, как вам идёт! – профессионально ликовала Инна. – Ваша мама одобрит! – Чем заслуживала неодобрительный кивок с моей стороны. Но жеребёнок, к классу которого я отнёс Инну, и ухом не повела. И я понял, что возрастная градация в московского мире очень строгая и ни у кого нет друг к другу ни капли уважения.

Несомненно, она относилась к поколению, которое выросло в памперсах и очень гордилось чистой попкой.

Пришла взыскательная Алла Потёмкина. С подозрением покосилась на жеребёнка Инну и велела принести костюм-тройку с кармашками для часов.

Я сказал:

– Мне это не подходит, я буду смотреться в нём, как приказчик.

– И то верно... – с безразличием в голосе согласилась Алла Потёмкина.

По той же причине я отказался от двубортного с золотыми пуговицами.

– А в этом, как адмирал!

– Да, это перебор, – тоже согласилась Алла Потёмкина, озабоченно покрутила носом и, не глядя на жеребёнка Инну, велела принести что-нибудь «этакое», молодёжное, «с косыми карманами». – Я не знала, что ты такой переборчивый, – похвалила она меня.

Она развеселилась и опять стала походить на мою жену, которая к выбору одежды относилась, как к тяжёлой, но вдохновляющей работе. Моя жена каждые три года обновляла гардероб, раздавая подружкам и приятельницам свои вещи. Иногда я путал её с кем-то из них, правда, без скандалов и сцен ревности, потому что вовремя понимал, что ошибся.

Инна принесла тёмно-синий костюм. Я напялил его и вышел. Алла Потёмкина сделал круглые глаза и удивлённо сказала:

– Ого! – Рот её невольно расплылся в ободряющей улыбке. – Я подозревала, что ты будешь на высоте, но чтобы так!..

А Инна за её спиной показала большой палец и на радостях притащила такой же, но фиолетовый, почти чёрный, с едва заметной блестящей полоской. В нем я походил на Джордж Клуни в лучшие его киношные моменты, не хватало только благородной седины. Алла Потёмкина велела завернуть и эту тряпку.

Она не знала одного – я терпеть не мог костюмов и обходился джинсами и куртками, которые занашивал до полусмерти. В крайнем случае, мог износить дорожный пиджак из грубой ткани. Поэтому больше всего мне понравились джинсовая двойка и тёплая куртка с белым воротником в придачу. Даже Алла Потёмкина одобрительно хмыкнула, должно быть, ей импонировали мои длинные ноги из-под неё. Жеребёнок Инна незаметно подмигнула мне и показывая глазами на Аллу Потёмкину, скептически заулыбалась, мол, разбирается, мамочка. Я не ободрил её замашек и снова нахмурил брови. Инна погрустнела, но не больше, чем на мгновение. Я понял, что она, вообще, не могла быть серьёзной и была ещё той ранней штучкой, которая понимала, куда дует ветер. А ветер дул в сторону больших денег и премии за богатого клиента. Шампанского только не подали, поскупились.

Я почувствовал, что Алла Потёмкина сдерживается, чтобы не сделать Инне замечание, а ещё она старалась не давить на меня. Наверное, были у неё такие установки. Опытные женщины всегда знаю, чего хотят, хотя это не гарантирует успех дела.

Потом мы перешли к обуви. Я выбрал четыре пары домашних тапочек для себя и гостей, две пары тёплых полуботинок жёлтого и тёмно-коричневого цветов, и на всякий случай – две пары туфель чёрного цвета. Остальное: галстуки, носовые платки, коробка носков, маек, трусов и всякого другого пошло оптом. В довершении Алла Потёмкина выбрала мне тёмно-синее верблюжье полупальто, канадскую шапку из енота и полосатый, бело-салатный длиннющий шарф для контраста. Ну и дико заревновала к жеребёнку, глаза у неё сделались тёмно-синего цвета, скулы, с прекрасным абрисом, стали ещё суше и не предвещали ничего хорошего, кроме войны на суше и на земле. Я сделал вид, что не заметил ни её фокусов, ни самого жеребёнка в априори. Жеребёнок, между тем, надула губы, но опять же не дольше, чем на мгновение, и корчила дикие рожицы ровно до тех пор, пока Алла Потёмкина случайно не установила этот факт в одном из многочисленных зеркал отдела, и едва сдержалась, дабы не закатить грандиозный скандал и не лишиться отдел праведных чаевых. После этого жеребёнок сдулась, как проткнутая игрушка.

– Кажется... всё! – заторопилась Алла Потёмкина, окидывая хозяйским взглядом кучу пакетов. – Ах, нет! – утёрла нос жеребёнку, жестом фокусника явила на свет божий откуда-то из-за шторы витую итальянскую трость тонкой работы.

Оказывается, вот за чем она бегала в бакалею. Я был потрясён. В моём тесте на профпригодность не было такой графы, потому что женщины не делали мне подарков, кроме жены на день рождения в виде привычных носков и одеколона для бритья.

– Ты меня разбалуешь, – сказал я невольно, ощущая, что жеребёнок Инна, в свою очередь, готова испепелить Аллу Потёмкину взглядом своих мультяшных глаз в опушке макияжа и килограмма туши.

– Надеюсь, это произойдёт не быстрее, чем ты опомнишься, – многозначительно сказала Алла Потёмкина, и ввела меня в лёгком недоумение, что, надеюсь, тоже было частью её тайной стратегии.

Мы едва загрузились. Трижды возвращались за покупками. Нам помогали Виктор Петрович и жеребёнок Инна. На прощание она сунула мне в карман записку. Я весело вертел итальянскую трость и в новом тёмно-синем костюме походил на лондонского денди; по крайней мере, я так себе его представлял.

– На сегодня твой рабочий день окончен, – сказала Алла Потёмкина, чтобы охладить мой пыл в отношении девушки Инны, и велела везти на новую квартиру. – Завтра полдесятого за тобой придёт машина, – сказала она, всё ещё не привыкнув к моему новому облику, и косясь на меня, как на манекен в витрине.

Всё же одежда сильно меняет внешность человека: то я был никем – вояка с большой дороги, а теперь – почти что московский джентльменом.

Странная эта штука, жизнь, подумал я, ничего не обещает, но держит сильнее любого капкана. И расслабился, хотя, конечно же, гадал, останется ли она со мной на ночь или жеребёнок Инна напрочь испортила ей настроение?

Не осталась, и в этой ситуации весьма походила на мою жену, которая была очень строга и терпелива. Если бы только Алла Потёмкина знала, что это большущий минус, а не маленький плюс для тридцатисемилетнего мужчины, то подарила бы мне хоть какую-то надежду, впрочем, мне было всё равно. Прошлась по квартире, цокая каблуками. Ни намёков взглядом, ни фривольностей в жестах. Строгим взглядом клинера оценила качество уборки, даже провела пальчиком в поисках пылинки. Я тащился следом, как хвостик, таращась на обстановку комнат, похожую на стерильную операционную: минимализм и конструктивизм в объёмах друг друга. Несомненно, что квартиру даже обработали антисептиком. В зале Алла Потёмкина полюбовалась сквозь французские окна на голубые огни «Сити».

– Красиво! – искренне сказал я.

– А я не люблю, – вдруг ответила она.

– Почему? – удивился я.

– Я почти родилась здесь. Здесь жила моя бабушка, здесь были парки, скверы и кофейни. Потом всё снесли и Москву окончательно испоганили.

– Всё равно красиво, – сказал я, глядя на подсвеченные небоскребы.

Москва – город молодых, я это сразу понял. Даже я для неё был уже старый.

– Торчат, как мёртвые зубы. Впрочем, тебе понравится, – намекнула она не понятно на что и ушла, оставив в стерильной чистоте лёгкий запах дорогих духов.

Главное, подумал я, что я не вызываю у неё отвращения.

Я не рискнул сделать заход. Я, вообще, не знал, нужен ли я ей в качестве мужчины, хотя порой её синие глаза многозначительно задерживались на вашем покорном слуге. И мне страшно захотелось выпить. Однако бар в кабинете, где помимо его находились стол на железных ножках, кожаное кресло с высокой спинкой к нему, диван и торшер в виде зеркальной гильзы, был пуст, а в холодильнике на кухне, стилизованном под гильотину – шаром покати. Да-а... хороший приёмчик, укорил я неизвестно кого и поехал было по старой памяти к Репиным пожить, но с огорчением вспомнил, что Валик до двадцати пропадает на «Мосфильме», а Жанна Брынская – в своей аптеке. Сбагрили всё-таки котёнка, подумал я, и мне стало одиноко.

Потом я спохватился: у меня же у самого куча денег, карточка с кэшбэком в придачу и ещё одна непонятного назначения. Поэтому я с превеликим удовольствием оделся во

всё новое, джинсовое, на ноги – жёлтые фасонные полуботинки на толстой подошве, на голову – енотовую шапку, рассовал по карманам банкноты, вышел, чувствуя себя жирафом в лапсердаке, и пошёл искать выпивку. Мне захотелось новизны чувств и приключений. Но вместо этого я увидел странный район – ни одного супермаркета, в котором я привык к маленьким городкам, какие-то забегаловки, ларьки в подворотнях, где торговали пивом и «твиксами», салоны связи, кофейни, парикмахерские, даже хлеба купить было негде, и только на Большой Дорогомиловской я нашёл более-менее крупный магазин – «Магнолия», где безостановочно звучала двенадцатая песня «Наутилуса Помпилиуса», а ведь прошло всего-навсего каких-нибудь тридцать шесть лет. Мастер! – так время выносит мозги, и так рождаются легенды.

Глава 3. Жеребёнок

Я так долго не имел больших денег, что мне захотелось тут же все их потратить. Пришлось взять две тележки, которые я забил деликатесами и выпивкой по края, так что стало сыпаться. Взял бы третью, но не знал, куда девать трость. Кроме этого я купил дорогой портмоне, дорогой айфон, ещё более дорогие армейские часы с ярко-синим циферблатом (я питал слабость к часам такого цвета), в корпусе из вольфрамовой стали, на браслете из металла, которые, кроме всего прочего, продавались в чемоданчике из красного дерева с гравировкой на золотой пластине; супер-пупер какую-то экзотическо-электрическую бритву, которой можно было бриться под душем; и огромный, просто громадный, пакет косметики, обклеенный стикерами. Расплатился я карточкой, вывез всё это добро на тротуар. Поймал такси, погрузился и поехал домой, едва не забыв на обочине свою итальянскую трость.

Ещё полчаса я носил добро в лифт, загружал необъятный холодильник и, как мальчишка, радовался красивым часам и бритве; косметику я даже не стал доставать из пакета, а так и отнёс её в ванную; часы оказались такими массивными, что при случае ими можно было убить укрофашиста; потом наступила реакция: мне срочно нужен был напарник. Я мог бы напиться в одиночестве, но это было бы уже откровенным свинством, я не хотел погружаться в прошлое, обычно это кончалось тем, что у меня начиналось посттравматическое расстройство – я мог валяться сутками, ничего не делая, тогда хоть вой на луну, всё равно не поможет, процесс мог тянуться неделями и месяцами, нужны были антидепрессанты, а я их уже целое ведро выпил. Легче было не переходить Рубикон.

И тут я вспомнил о жеребёнке Инне с её изумрудно-мультишными глазами и позвонил ей без всякой надежды на удачу, полагая, что безысходность даёт мне право на маленькую радость в жизни – вдруг девочка настоящая, а не магазинный шпунтик, помешанный на работе. За окном уже серел зимний московский вечер, редкие снежинки пролетали перед стеклом. Вдали ярко горели огни «Сити», кабинетные винтики и шпунтики которого пыхтели над добыванием денег до темна.

Однако, оказалось, она только и ждала моего звонка. Через полчаса консьержка сообщила профессионально-милым голосом о молодой особе «в белых сапогах и серебристой шубке», которая «рвётся к вам в гости». Я подтвердил её притязания, должно быть, она неслась, как пуля, вышел и заплатил за такси, ошастливив на всякий случай консьержу пятьюстами рублями. А жеребёнок, минуя все стадии знакомства, первым делом, повисла у меня на шее и, одарив крайне чувственным поцелуем, сбежала, кокетливо роняя шубку, перчатки, белейшие сапоги на дичайшей шпильке, которые так поразили консьержку, кажется, в спальни, или в одну из них, их было две, на выбор, а я отправился на кухню, чтобы откупорить бутылку шампанского и одновременно разлить арманьяк в хрустальные рюмки, которые обнаружил в серванте, в большой комнате с красным персидским ковром во весь пол.

Она звонко крикнула:

– Я сейчас!

И подалась в ванную; я услышал, как льётся вода и едва удержался, чтобы не потерять ей спинку и не подать полотенце.

– Не торопись, – ответил я, собираясь с мыслями, ибо это была целая проблема для меня – моментально изменить свой образ жизни, потому что я привык к аскетизму. Но, видно, настало такое время, когда ты пересматриваешь свою жизнь и оцениваешь её по-новому после окопов и войны. И я думал, что она, эта жизнь, у меня не удалась. Слишком много в ней было потерь, особенно в последние два года; и едва с такой реальностью не вернулся в унылое состояние души, однако, вовремя остановившись над пропастью, чтобы влить в себя пару рюмок арманьяка, иначе сегодняшний вечер мог закончиться, не начавшись.

Я успел нарезать французский окорок «жамбон» – с ярко-красной корочкой и с тонким слоем жира, плебейские бочковые корнишоны и чёрные «бородинский» хлеб, посыпанный тмином, о котором мечтал полдня, как только Алла Потёмкина сообщила о пятикомнатной квартире. Надо было быть настойчивей, но я не решился. Интересно, как бы она среагировала? Обишуриться раньше времени тоже не входило в мои планы; так что в моём лице она нашла достойного противника по части тактики и стратегии.

Я открыл коробку шоколадных конфет и вспомнил, что в детстве обожал их до трясушки, и в Боярке, в санатории для детей военных, воровал их у Вовки Ефремова, который умел лепить из пластилина чудные фигурки и даже «слепил» оборону Брестской крепости. Я наполнил вазочки мандаринами, апельсинами и виноградом. Я вскрыл килограммовую банку осетровой икры и переложил сливочное масло в маслёнку, чтобы оно стало мягким. Я порезал сёмгу и посыпал её свежей петрушкой. Я разогрел в микроволновке мясо камчатского краба и разложил на две порции. Я бы ещё что-нибудь сделал, но устал ждать, и, чего греха таить, попробовал ещё коньяка «сараджишвили» десятилетней выдержки, и нашёл, что он даже совсем не так плох, как казалось. Я любил отечественные коньяки, они были настоящими мужскими напитками, а не слабой водичкой типа хвалённого «наполеона».

Инна наконец явилась в белом махровом халате, босиком, тоненькая, изящная, соблазнительная, как стаканчик итальянского мороженого, и капризно спросила, окинув стол изумрудным взглядом:

– А помидоров свежих нет?

Если бы она знала, что свежими помидорами меня удивить невозможно, ибо на Донбассе помидоры – продукт повсеместный и круглогодичный.

– Сейчас сбегая, – сыронизировал я.

– Ладно, ладно... – смиловилась она, засовывая себе в рот обеими руками всего понемногу. – Зато огурцов навалом! Мамочка подарила тебе квартиру? – оглянулась она на стены, на которых, надо отдать должное вкусу устроителей, даже висели картины современных художников: «Арбат в дожде» или «Жёлтый переулок под красными крышами», по-моему, чудовищная бульварная копиистика.

– Это служебная, – отрёкся я, чтобы не казаться снобом и чтобы не забыть об окопах, хотя жеребёнку было всё равно, как, впрочем, любой другой женщине, окажись она на её месте.

Я чувствовал себя временщиком, человеком, который рано или поздно должен вернуться к серьёзному делу, а не прозябать на московских палатах.

– Служебная! Фу! – Она состроила дивную мордашку, что означало и восторг, и презрение одновременно. – У тебя отдельные душевая и ванная! – воскликнула она с осуждением.

– Я не знал, – покраснел я.

– Иди ты! – не поверила она и сделала глупое лицо, которое чрезвычайно шло ей. Чёрная икринка повисла у неё на губе. И мне нравилось, что в ближайшие несколько дней жеребёнок будет послушная и лояльна, а потом, видно будет.

– Серьёзно, – сказал я, – я только что въехал. А где ты халат нашла?

Я специально делал жизнь простой и понятной, чтобы потом не сожалеть ни о чём, ведь прошлое безжалостно и если выдаёт что-то авансом, то требует потом стократ.

– В спальне.

– Да? – удивился я.

Это тоже было для меня новостью. А вдруг Алла Потёмкина оставила его для себя? Тот будет скандал. Но мне было наплевать, ведь я здесь временно во всех отношениях: и смерть под ножом хирурга, или – на поле боя, какая разница.

– А твоя мамочка не приревнует? – в глазах у жеребёнка плавал смех юности и беспечности, когда тебе всё прощается и сам ты всё ещё способен прощать.

Я подумал, что не имею никаких обязательств перед Аллой Потёмкиной, и совесть меня абсолютно чиста после шестнадцати лет супружеской жизни. Наташка Крылова вышла за меня замуж и автоматически получила право мною помыкать, с тех пор ни одной из женщин я принципиально не позволял это делать, хотя знал, что в семейной жизни надо уметь договариваться, но почему-то делал это через пень-колоду. То количество сил, которое я потратил на жену, вполне хватило бы на маленькую термоядерную войну на Ближнем Востоке. Больше у меня ни на что сил не было. И тем не менее, даже лет через десять, приходя на свидании с ней, я каждый раз удивлялся, как она идёт мне навстречу с грациозностью лани, выставя вперёд то правую, то левую ногу, словно модель, и её глаза сверкают, подобно маяку в темноте, а копна блестящих, коричневых волос колышется в такт движению, и мне всякий раз хотелось оглянуться, потому что казалось, что всё это великолепие предназначено не мне, а ком-то другому у меня за спиной; так я любил её.

– Не думаю, – сказал я не очень уверенно, полагая, что о жеребёнке Алле Потёмкиной лучше даже не подозревать и что осторожности ради надо стереть в айфоне её номер.

Заметив мой интерес к её тату, она сказала с бравадой:

– Я ещё не придумала, что на левой нарисовать. – И добавила. – Я знала, что ты мне позвонишь! – и прыгнула ко мне на колени.

Я едва не кончил. Пахло от неё молочным щенячьим запахом, который я заметил ещё в магазине. Этот запах мне напоминал о детстве: мы жили на севере, я ходил на сеновал, где собака Розка принесла выводок щенков. Я жевал конфеты «золотой ключик» и выманивал ими щенков из норы. Так вот, жеребёнок пахла совсем точно так же, как те щенки. Одного из них я взял домой и назвал Рексом.

– Ничего ты не знала, – сказал я так, что она поморщилась. – Я сам не знал, что позвоню.

– Я тебе не верю, – самоуверенно возразила она, в упор глядя мне в глаза. – Я сразу тебя заметила. Выглядишь ты монументально! Лицо у тебя такое...

– Какое? – мне сделалось смешно, и спросил я на всякий случай, семимильными шагами заполняя в самолюбии всё те пробелы, которые со школьной скамьи культивировала во мне моя жена, хотя я её любил и люблю до сих пор. Просто другого в этом прошлом нет и не было, и ничего изменить было нельзя.

– Такое... в общем, человека, которому нечего терять. Люська Митрохина к тебе побоялась подойти. А я – нет! Вот я какая!

– Смелая! – похвалили я её, потянувшись за шампанским.

Ножка у жеребёнка была маленькая, аккуратная, с золотым маникюром. И вообще, она больше тяготела к породистости, только весёлый курносый носик подвёл. Я её захотел ещё в магазине, но сдерживался по суровой, мужской привычке.

– А ещё у тебя в голосе камушки перекатываются, – сообщила она, задохнувшись от возбуждения.

Дались им эти камушки, подумал я и сказал:

– Не усложняй жизнь. Помогай лучше!

Она потянулась за бокалами, в разрезе халата я увидел её грудь с тёмными сосками, и горло стиснул обруч. Мы выпили, и больше я терпеть не мог. Я поднял её. Она охнула, глаза её расширились, словно от удивления. Фужер упал на пол и покатился под ноги. Я перешагнул и фужер, и коридорчик; в ближайшей спальне оказалась широченная кровать и огромной пуховое одеяло, в которое мы рухнули, как в безвременье.

Это было не то. Суррогат. Ширпотреб. Эрзац. Другие запахи, другие звуки, всё показалось мне ложным. Но на фоне многолетнего воздержания, вполне можно было принять за любовь. Я не стал привередничать и отключил память, нашёл тайный тумблер, который не позволял мне думать о прошлом. В моём положении теперь это было роскошью. И чем больше я находился без памяти, тем было лучше. Таков был мой гениальный план беглеца.

Потом, когда за окнами уже стемнело, а часы на тумбочке показывали час пятнадцать ночи, потом, когда мы разворошили идеальное ложе и искусили подушки, когда наполнили своим дыханием и нашими запахами стерильную атмосферу спальни, мы с превеликим трудом вернулись в реальность, и я понял, что суррогат дополнился ещё и профессионализмом. Только я не знал, может, это московский шарм? Но жеребёнок была то ли уставшей, то ли уже кем-то обьеженной не далее, как сутки назад. Ну да бог с ней, решил я, отдав на откуп жеребёнку её привычки. Что я, жениться собрался? – подумал я. Может, она не добирает восторга? А может, это её здоровый, московский стандарт? И не стал привередничать, не в моём положении привередничать: красивая, весёлая девушка пришла развлечься. Бог с ней. Будь великодушным, и гори оно всё синим пламенем, плюнул я, полагая, что лучше уже не будет, что надо начать новую жизнь, и пересилил себя в том смысле, что надо ещё поглядеть, что из этого всего выйдет.

Мы вернулись на кухню, весёлые и голодные, как зверьки, и уничтожили всё, что находилось на столе и частично в холодильнике.

В госпитале я долго привыкал к медленному течению жизни. Я до сих пор испытываю наслаждение от размеренности времени и знаю, что за закатом обязательно наступит рассвет. На войне ты в этом не уверен, на войне твои мысли занимают сотни обыденных вещей. Ты живёшь от одной мысли к другой, ты не ждёшь завтра. Оно может предстать в виде разных образов или действий, но абсолютно не так, как ты о нём думаешь. Завтра может также и не наступить. Смерть – это только мгновение. Хуже так, как со мной: застрять в безвременье, как над пропастью, и мучаешься прошлым, словно несварением в желудке.

– Ты был на войне? – спросила она, не таясь, вытирая руки о халат.

Я понял, что она имеет ввиду шрамы, о которых я только что подумал, ведь они тоже знаки времени, только оставленные на твоём теле.

– На какой? – решил я узнать, разбирается ли она в географии.

Я забыл, кто я такой и что здесь делаю. Мне хорошо было с жеребёнком Инной, и я не хотел вспоминать безжалостное прошлое, которое кромсает всех без разбору.

– В Сирии? – спросила она наивно.

– Ха-ха-ха! – я услышал собственный смех. – Нет, что там делать? – и запахнул халат (в шкафу их была целая дюжина), чтобы она понапрасну не паялилась на то розовое безобразие, которое разукрасило моё тело.

– А где? – удивилась она.

Странно, что она, вообще, задала такой вопрос. Впрочем, опыта по этой части у меня не было. Так глубоко в мою жизнь никто не заглядывал, потому что я мало кому был интересен.

– Ближе, – сказал я. – Гораздо ближе, – потянулся я за коньяком, пряча глаза, чтобы не обидеть её жёсткостью, потому что я начал твердеть как эпоксидка, а ещё потому что война – это не тема для откровений и любовных разговоров.

Я не хотел, чтобы она касалась моего прошлого. Оно ещё болело. Это было моё личное прошлое, я даже ни с кем не мог его разделить, чтобы было не так мутно. Я знал, что в жизни ты никому не нужен, что интерес к тебе носит временный характер, что люди одиноки и себялюбивы, приходят и уходят, когда им вздумается. Даже Ника Кострова не прошла этот тест, а ведь, честно говоря, я надеялся на неё. Но она не появилась, и я всё время вспоминал её.

– А-а-а... – не в такт протянула жеребёнок.

– Тебе сколько лет? – спросил я.

– Девятнадцать, – ответила она.

Жаль, что Варя не дожила, подумал я и затолкал горечь поглубже, не давая ей, как скользкой пружине, вытолкать меня наружу, потому что могла начаться спонтанная реакция с алкоголем и моим сознанием.

Я вдруг понял, что мало знал дочь, что её время текло параллельно моему времени и пересекалось с моим лишь отчасти, в последние годы всё реже и реже. Ей было бы сейчас семнадцать с половиной лет, подумал я и поискал взглядом арманьяк, мою отдушину.

– Так ты оттуда... – догадалась жеребёнок с той милой непосредственностью, когда разгадывают этикетку на бутылке виски, чтобы понять, что за гадость ты будешь пить ближайшие полчаса, хотя в следующее мгновение мультяшные глаза у неё стали впервые серьезными, как у пай-девочки из приличного московского общества.

Но я всё равно не поверил ей, я не верил кружевам и бантикам, помадкам и духам, я просто сделал ей снисхождение.

– Оттуда, – подтвердил я, ожидая всего, что угодно, испуга, вплоть до истерии, вдруг я беглый укрофашист?

Она меня крайне удивила: вдруг подалась вперёд, прижалась так, что её пышные волосы упали мне на грудь, и сказала:

– Я тебя люблю!

Боже мой, ужаснулся я, потому что в душе, на самом её дне, была пустота смертельно уставшего человека. Я не был готов к любви, я не верил в неё. Любовь для меня сочеталась с обманом и манипуляцией под её соусом; любовь была роскошью, в отличие от материальной роскоши, я позволить себе её не мог. За любовь надо было страдать и очень дорого платить, её надо было беречь и холить, а у меня не было сил даже на ответную реакцию.

– Почему ты молчишь? – спросила она и поставила меня в положение, когда я должен был за неё отвечать, а я не хотел ни за кого отвечать; мне давно не нравилось это пустое занятие.

– Надо что-то сказать? – спросил я, скосившись на неё.

– Что-нибудь для приличия, – подсказала она, и глаза у неё обиженно заблестели и сделались малахитовыми.

Я подумал, что если начну объяснять, то выйдет по-идиотски глупо. Нельзя рассказать всю жизнь за три минуты, жеребёнок обидится и не поверит; она и так обиделась, надула, как моя Варя, губы.

– Дай мне прийти в себя, – попросил я через силу, потому что хотел, чтобы она сама догадалась, что я переживаю. – Я ещё не очухался.

Она всё поняла отчасти:

– Там было страшно?..

Это была не любовь; это была жалость; я это сразу понял и даже не расстроился.

– Там было всё, как в обыденной жизни, только ещё убивали, – сказал я. Не скажешь же ей, что ты, кроме всего прочего, искал свой предел прочности или смерть, но так ничего и не нашёл. Кому это интересно? – Давай, лучше выпьем, – предложил я, – и пойдём спать.

– Давай, – тряхнула она головой, и её волосы, такие густые и прекрасные, что казались неземными, разлетелись во все стороны.

И мы допили шампанское и пошли любить друг друга, и досыпать.

Ночью мне приснился бой в тот момент, когда завалило Лося. Сосны от крупнокалиберной артиллерии ломались, как спички, и одно из них прямехонько упала в окоп, где он прятался. Я проснулся от собственного крика, потому что рывком поднял ствол, увидел Лося со сломанной спиной, глядящего на меня одним глазом, а вытащить его не смог, элементарно не хватило сил; потом это стало моей непреходящей виной, которая являлась когда ей захочется, без расписания и порядка. Несколько секунд я пялился в темноту, пока не сообразил, где нахожусь, нащупал голое плечо, сообразил, что это Инна-жеребёнок, прелестное дитя природы, созданное для удовольствия, и снова уснул с почти идеальным ощущением счастья, оттого, что я в постели с прекрасной девушкой и никуда не надо бежать и не надо прятаться, а можно спокойно дожить до утра и тупо отправиться на тупую работу.

А утром меня, действительно, разбудил домофон. Я прошлёпал в коридор. Хороший алкоголь, даром что хороший, не дал тяжёлого похмелья, и я чувствовал себя вполне сносно, чему был удивлён, обычно, когда я мешал разные напитки или пил суррогат, на душе бывало тяжело и мутно.

– Сколько у меня времени? – спросил я, продирая глаза.

– Ровно пятнадцать минут, – вежливо ответил шофёр, вертя кудлатой головой.

Я подождал в надежде, что он добавит слово «сэр», но он не добавил. И я кинулся бриться, умываться и чистить зубы. Я не хотел подвести Аллу Потёмкину в первый же рабочий день. Она сделала на меня ставку, а это обязывало.

– Ты за всю ночь ни разу не засмеялся, – жеребёнок беззастенчиво шурилась от яркого света, одной рукой целомудренно прикрывая грудь с розовыми сосками, а другой откидывая со лба густые, жёсткие волосы, которые мне так нравились.

– Извини, – пробурчал я, полоща рот, и краем поглядывая на то, что было у неё ниже пояса.

Попробуйте удержаться. Вряд ли у вас получится. У меня никогда не получалось.

– А можно мне с тобой?

– Нет, нельзя! – отрезал я, ничего не собираясь объяснять и теперь уже в открытую косясь на её лобок со стрижкой «рюмочка», о края которой я, чего греха таить, изрядно исколол себе язык, но только сейчас заметил это. – Я тебе оставлю ключи, будешь уходить, закроешь дверь. А деньги на такси на комод в прихожей.

– Вот ещё! – возмутилась она сонно. – Что я, проститутка?! А это...

Только теперь я обратил внимание, что некоторые мысли она выражала одними и теми же общими фразами. Я посмотрел на неё с любопытством и тут же прости ей симптом Элочки-людоетки, ибо у неё было неоспоримое преимущество перед другими женщинами – молодой и красивое, а главное, доступное тело, которое меня страшно влекло.

Ещё в госпитале я понял, что бесконечно долго можно глядеть на три вещи: на дождь за окном, на сериал «Кухня» и на замкомроты Дорофеева, у которого был нервный тик. Но оказывается, что точно с таким же удовольствием можно пялиться на голую девушку, которая смотрит на вас влюблёнными глазами.

– Ну как хочешь. Я тебе позвоню, – сказал я в страшном смятении, стараясь быть серьёзным и пытаюсь обойти её, чтобы надеть брюки и отправиться на эту чёртову работу.

– И это всё?! – удивилась она, загораживая мне выход и просовывая божественно гладкую ногу между моими безобразно волосатыми ногами, которых я стыдился.

Я почувствовал влагу на своей ноге, я почувствовал, какие острые у неё соски, а запах такой сногшибательный, что голова пошла кругом, и ей богу, остался бы. Что ещё нужно для счастья, кроме любви голой девушки? Но надо было идти отрабатывать всё то великолепие, в которое я вляпался.

– Я же оставил тебе ключи?! Оставил! Захочешь, придёшь! Не захочешь, кинешь в ящик!

– Какой ты всё-таки гадкий! – сказала она с любовное истомой и убрала ногу. – Мог бы и подвезти!

Её последний взгляд едва не свали меня в нокаут. Я едва не сдался, не расслабился, не растёкся медузой под её ногами. Но я был мудр и опытен, я знал, что за всё надо платить, даже если ты виноват косвенно, и вспомнил свою жену и её нелепую смерть, и вовремя остановился: надо было предстать перед прекрасными очами Аллы Потёмкиной и меньше рефлексировать, а лучше вообще не думать.

– Не могу, – всё-таки устоял я. – Через полчаса все будут знать, что я в первую же ночь привёл к себе девицу. То-то кое у кого будет радости.

– У мамочки? – догадалась она снисходительно, с соответствующими нотками в голосе, мол, беги виляй хвостом, но я уже оправился и не дал ей больше возможности вертеть мной.

– Не знаю, – покривился я за свой длинный язык, ибо не желал ничего плохого Алле Потёмкиной, тем более, что она страшно походила на мою жену.

– Ну и хорошо! – повела Инна-жеребёнок, как кошка, изумрудными глазами. – Какое кому собачье дело?!

– Вот когда куплю свою машину, тогда и буду катать, – пообещал я опрометчиво.

– Когда-нибудь... кого-нибудь... другого... – обиженно бросила она нараспев, удаляясь на цыпочках в спальню, потому что пол был холодным.

Я понял, что она знает жизнь и уже вкусила от её прелестей. Но мне уже было не до пререканий, хотя её тонкий силуэт, с безупречной формой ягодиц и копной русых, жёстких волос весь следующий день неотлучно преследовал меня и мешал сосредоточиться.

Одеваясь на ходу, я успел ещё побрызгаться дезодорантом и помазать морду какой-то дрянью «после бритья», которую мне всучил приставучий продавец косметики в магазине «Магнолия», и выскочил из квартиры.

Я и правда подумал ночью о собственной машине, а конкретизировал мысль уже утром. Мне нравились маленькие, верткие вездеходы; я вдруг стал мечтать о летнем отпуске где-нибудь на севере, среди пустоты и вселенской тишины, а ещё мне хотелось пожить одному на Байкале, без жеребёнка, разумеется, в крайнем случае, с собакой, но это было из области фантастики, потому что собственной машины у меня никогда не было. Зато были права: я сдал экзамен перед самой войной, потому что Борис Сапожков, видите ли, решил расширить парк редакции в два раза, то бишь купить заместителю, то есть мне, редакционное авто. Иногда он давал мне возможность покататься на своей машине, когда мы не пили водку; и я имел небольшой опыт вождения.

* * *

Шофёра звали Вадимом Куприн, у него был большой живот и пышная шевелюра, которая не уместилась бы ни под одну шапку, поэтому он ходил гордо с непокрытой головой, несмотря на непогоду.

– Я тоже вчера макнул! – доверительно сказал он, и мне показалось, что он подмигнул мне.

Так два рыбака узнаю друг друга издалека.

– А что, заметно? – обеспокоился я, посмотрев на себя в зеркало.

Морда как морда, немного перекошенная от удовольствия; я подумал о жеребёнке, если она меня, действительно, любит, то можно опустить её столичный опыт. Видно будет, решил я, лишь бы она меня любила так, как я хотел бы. А как хотел бы, я и сам не знал, но совершенно точно не так, как Наташка Крылова.

– Ох! – выразил он своё мнение и вежливо, словно предлагая дружбу, сунул мне мускатный орешек. – Закусите!

Я стал вычислять, сколько я вчера принял на грудь, и получилось, что превысил свою норму ровно в два с половиной раза, и сразу ощутил обезвоживание. И хотя Вадим Куприн домчал меня до башни «А» аж за пять минут, меня пару раз мучило, а один раз едва не вырвало, я даже открыл дверцу на ходу, но обошлось. Через десять минут я сидел в собственном кабинете, в собственном кресле и пил кофе, приготовленный Верой Кокоткиной, и медленно, но верно, приходил в себя, пялясь от неясной тоски на окна соседнего небоскрёба: жеребёнок Инна так и не выпала из головы, а кофе при обезвоживании помогал лишь отчасти.

После Вера Кокоткина принесла мне бумаги.

– Алла Сергеевна просила вас почитать, – затараторила она кротким голосом, в котором, однако, чувствовалась заряженность гневливой натуры, и я заподозрил в ней ханжу, можно подумать, она не выпивает и не спит с мужиками, при такой фигуре-то. Бывают такие дамочки,

которые только на вид святые, а внутри сплошной порок, и они купаются в нём, как в шампанском, но зачем-то скрывают это.

– Что это такое? – спросил я, глядя на её башню на голове.

Я подозревал, что где-то в глубине кабинета есть бар, в котором стоит холодное пиво, всё равно какой марки, лишь бы оно было холодным, и его было много, очень много, но не знал, где этот бар, а спросить не решался, чтобы не навлечь на себя подозрения в алкоголизме, ибо Вера Кокоткина и так косилась на меня с кривой ухмылкой, мол, нажрался вчера, начальник, а корпоративная модель поведения, а солидарность? Посему я дышал в сторону.

– Это, – прочитала она, тараторя: – «Полный список объектов аптечного синдиката «Аптечный рай»». Что-то не так?.. – и качнула своим набалдашником, который, как ни странно, удержался и не съехал набок.

Со стилистикой у синдиката явно были нелады. Ну да это не моё дело, подумал я, чувствуя себя временщиком в этом великолепном стеклянном мире.

– У тебя дома всё нормально?

– Да... всё хорошо... – удилась она, наведя на меня свои чёрные, воспалённые страстью глаза.

Вера Кокоткина была высокой, худой, с вызывающе торчащим треугольным носиком, явно занималась, как минимум фитнесом, а как максимум тяжёлой атлетикой. Чёрные глаза страсти горели на её лице.

– Тогда почему ты носишь эту штуку? – я тактично показал на её осиное гнездо.

– А что?..

– Словно тебя обидели.

– Никто меня не обидел, шеф, – дёрнула она шеей, тоже, кстати, не простой, а почти что лебединой.

«Шеф» – мне понравилось.

– Вот тебе сто долларов, напротив салон, сделай модную стрижку и можешь сегодня не возвращаться.

– Среднюю? – уточнила она с милой непосредственностью девушки, которая готова тебе подчиниться, может, даже лечь в постель, а там видно будет.

– Как хочешь, – выдал я ей полный карт-бланш.

– Нет, лучше длинную, – затараторила она радостно. – У меня же длинные волосы!

У тебя прекрасные волосы, не прячь их, хотел я сказать комплимент, но не сказал из опасения в первый же день прослыть ещё и бабником. Вначале надо было навести мосты дружбы и сотрудничества, как избито говорят в прессе.

– Пусть будет длинная, – терпеливо огласился я, не ожидая такой бурной реакции.

– Косую или прямую? – она улыбнулась, демонстрируя здоровые, отбелённые зубы.

– На твой вкус, – вздохнул я, как лошадь, которая наконец переварила жвачку.

Длинные белые волосы и страстные глаза южанки это то, что надо в сонном царстве аптечной империи, здраво подумал я.

– Я ещё вязаный маникюр приглядела, – сказала она кокетливо, задирая свой весёлый, задорный нос в потолок, – и маску из перги...

Это уже пахивало вымогательством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.